

МАРИАМ ПЕТРОСЯН

12+

Дом, в котором...



КНИГА ТРЕТЬЯ

ПУСТЫЕ ГНЕЗДА

LIVE
BOOK

Мариам Петросян
Дом, в котором...
Том 3. Пустые гнезда
Серия «Дом, в котором...», книга 3

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7069587
Дом, в котором... Том 3. Пустые гнезда: Livebook;
ISBN 978-5-904584-73-3*

Аннотация

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс – мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени.

Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная.

Содержание

Сфинкс	4
Сфинкс	94
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Мариам Петросян

Дом, в котором...

Том 3. Пустые гнезда

Сфинкс

*Уже пушинки пряят
Над тлеющим терном.
Скоро твоя перчатка сочтет пустые гнезда.*

Альфред Гонг. Боздромиион.

Я лежу на влажной траве, положив ноги на скамейку, и смотрю в небо, которое недавно плакало. Мои заляпанные грязью кроссовки скрещены на сидении скамейки, грязь на них постепенно светлеет, высыхая, и осыпается на облезлые доски. Слишком быстро. Летнее солнце безжалостно. Через полчаса от прошедшего дождя не останется никаких следов, а через час тому, кто вздумает здесь поваляться, потребуются солнечные очки. Я пока еще могу смотреть на небо. Ярко-голубое в паутине дубовых ветвей. Ниже – корявый ствол, будто сплетенный из окаменевших канатов. Дуб – самое красивое дерево во дворе. И самое старое. Взгляд скользит по нему сверху вниз, от самых тонких веток до корней толщи-

ной с меня, и над спинкой скамейки я замечаю надпись, тонкие, блеклые царапины на гребнистой коре: «помни»... что-то еще и «не теряй»... Приподнимаю голову, чтобы лучше видеть, я привык читать и менее разборчивые надписи.

«Помни об С.Д. и не теряй надежду».

С. Д. Самая Длинная ночь.

Кому-то она дарит надежду...

Это было бы смешно, не будь это так грустно. Стоило ли убегать из Дома, где такие вот надписи змеятся, переплетаются и закручиваются в спирали, кусая себя за хвосты, – каждая крик или шепот, песня или бормотание, так что, глядя на стены, хочется заткнуть уши, как будто это действительно звуки, а не слова – стоило ли сбегать оттуда, чтобы любоваться этой маленькой, но такой пугающей надписью?

«Я дерево. Когда меня срубят, разведите костер из моих ветвей».

Еще одна веселая надпись.

Почему они так действуют на меня? Может, оттого что они здесь, а не там, где стены в сплошной паутине слов? Не заглушенные ничем, они звучат более зловеще.

А так хотелось отдохнуть. От Дома. От таких вот надписей. От призывов веселиться до упаду – «ПОКА ВРЕМЯ НЕ ВЫШЛО!»... от ста четырех вопросов теста «Познай себя» (один глупее другого, не пропускать дополнительные пункты!). И я сбежал оттуда. Из хаоса в мир тишины и ста-

рого дерева. Но кто-то побывал здесь до меня, перетащил сюда свои страхи и надежды и изуродовал дерево, подучив его шептать каждому, кто окажется рядом: «Когда меня срубят, разведите костер из моих ветвей».

Дуб величественно простирает шишकाстые ветки к солнцу. Древний, прекрасный, невозмутимый, готовый, как и любой его собрат, вынести самые изощренные человеческие надругательства без жалоб и упреков. Я вдруг ясно представляю его стоящим среди развалин снесенного Дома, окруженным горами битого кирпича... как он стоит, вот так же протягивая толстые ветки к солнцу, а выцарапанные на стволе буквы призывают не терять надежды.

Холод пробегает по позвоночнику.

«Испытываете ли вы временами необъяснимый страх перед будущим?» Вопрос шестьдесят первый теста «Познай себя». В тестах, как нам сообщили, нет незначительных вопросов. Каждый добавляет важные штрихи к психологическому портрету тестируемого. В нашем случае они могли бы обойтись одним этим пунктом.

Хрустят шаги по гравию. Приоткрываю один глаз.
Небо... ветки... ноги, облаченные в черные брюки.
– Тебе удобно?

Ральф в расстегнутом пиджаке и небрежно повязанном галстуке садится на скамейку и закуривает.

– Очень удобно.

Не встаю. Раз сказал, что мне удобно, придется теперь глядеть на него снизу вверх. Ральфа это не смущает. Он прячет в карман зажигалку и достает оттуда сложенный листок. Разворачивает и держит у меня перед носом. Это список. Шесть имен и фамилий.

Три из них мне хорошо знакомы. Фитиль, Соломон и Дон – Крысы, слинявшие в Наружность. В первый раз они сбежали еще зимой, после Самой Длинной, но их быстро нашли и вернули, после чего они почти сразу сбежали опять. Их возвращали еще дважды в течение месяца – и тридцать дней жители Дома развлекались, делая ставки на то, сколько им удастся продержаться. Их фамилии намозолили всем глаза в объявлениях о розыске, которые почему-то развешивали на первом этаже. Как будто и Акула уже спятил настолько, что отождествлял первый этаж с улицей, патетично взывая с его стен к случайным прохожим: «Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении упомянутых подростков...» На третий раз вернули одного Фитиля. Куда делись другие «упомянутые подростки», так никто и не узнал, а Фитиль не решился сбежать в одиночку и остался в Крысятнике – жалкой тенью прежнего себя, шарахающейся от каждого Крысенка.

– Да? – говорю я. – Первые трое – Фитиль, Соломон и Дон, остальных я не знаю. Они что, тоже сбежали?

– Не совсем.

Ральф переворачивает свой список и придирчиво изучает его, как будто желая убедиться, что ничего не напутал.

– Остальные из первой, – сообщает он. – Пока никуда не сбежали, но отчего-то очень рвутся.

Я сажусь. Теплый и поджаренный солнцем спереди, мокрый и замерзающий сзади. Весь в муравьях и в песке. Отрываюсь, борясь с головокружением.

– Звонят родителям, – продолжает Р Первый, не отрываясь от списка. – Пишут письма директору. Просят забрать их из Дома как можно быстрее. Создается впечатление, что не будь они... ограничены в передвижении, то последовали бы примеру тех троих. Кажется, их кто-то запугивает. Ты об этом что-нибудь знаешь?

– Нет, – отвечаю я. – Впервые слышу.

Ральф убирает список в карман и откидывается на спинку скамейки. Его явно не устраивает мой ответ, но мне действительно невдомек, с чего вдруг трое Фазанов одновременно решили очутиться как можно дальше от Дома. Хотя, зная первую, можно удивляться лишь тому, как поздно они спохватились.

Ральф любит небо сквозь ветки, подставляя лицо солнечным зайчикам. У него очень мрачное, злодейское лицо – у настоящих злодеев таких не бывает. Только в кино, в самых старых фильмах. И он даже не думает сесть или лечь, хотя проработал здесь уже... лет тринадцать, не меньше. Очень стойкий человек.

– Хорошо, – говорит он. – Допустим, ты ничего не знаешь. Но что ты об этом думаешь? Чего они боятся? От чего пы-

таются бежать?

Я пожимаю плечами:

– Вряд ли они напуганы. Скорее, их выживают. Первая это умеет. И не только первая, – невольно добавляю я, вспомнив о Курильщике, который вполне мог бы очутиться в списке Ральфа, дай мы себе волю. Но мы все-таки не Фазаны.

– О ком ты сейчас подумал? – настораживается Ральф. У него вид ищейки, взявшей след. Со стороны это выглядит забавно.

– О Курильщике, – честно отвечаю я. – Можете внести его в свой список, если хотите.

– Ах вот как...

Р Первый погружается в задумчивость. Надолго.

Я тоже молчу. Может, и не стоило говорить ему о Курильщике. Воспитатели – существа непредсказуемые, никогда не знаешь, какие выводы они сделают на основе полученной от тебя информации. С другой стороны, вряд ли сообщение о Курильщике может чем-то нам навредить.

– Ты хорошо помнишь прошлый выпуск? – внезапно спрашивает Р Первый.

Я морщусь. Некоторые темы не обсуждаются. В домах повешенных – веревки. Может быть, даже мыло и гвозди. Ральфу это известно не хуже, чем мне.

– Нет, – говорю я. – Плохо. Только ночь в кабинете биологии, где нас заперли. Утро почти не помню. Так... кое-что... фрагментами.

Он щелчком отбрасывает окурок.

– Вы тогда ждали чего-то совсем другого, верно?

– Может быть. Лично я ничего не ждал.

Встать и уйти будет невежливо. Хотя это так и напрашивается. И меня все сильнее раздражает собственная позиция на уровне его колен. Встаю с земли и пересаживаюсь на скамейку.

– Ты ведь Прыгун?

Заглядываю Ральфу в лицо. Он перешел все мыслимые и немыслимые границы. Интересно, чем я его спровоцировал? Неужели тем, что отвечал? Может, и так. Любой на моем месте уже послал бы его к черту. Есть множество способов послать человека к черту не прибегая к открытому хамству. Ральф абсолютно не удивится, если я сейчас спрошу: «Что-что? Как вы сказали? Прыгун? Что вы имеете в виду? По-вашему я похож на кенгуру?» Он, в общем-то, только этого и ждет. Но чем больше разных вариантов «что-что?» приходят на ум, тем становится противнее. Лучше уж послать его к черту. Хотя я и этого не могу. Потому что зимой, когда мы отправили к нему Слепого с просьбой узнать что-нибудь о Лорде, он не послал нас к черту, не изобразил удивление и не возмутился нашей наглостью, а поехал неизвестно куда и сделал намного больше, чем мы могли надеяться. И если я сейчас изобразу удивление и стану болтать о кенгуру, то, наверное, сам себя перестану уважать. Поэтому я говорю:

– Да. Я Прыгун. И что?

Ральф потрясен. Смотрит на меня, приоткрыв рот, и долго не находит, что сказать.

– Ты так спокойно об этом говоришь.

– Не спокойно, – поправляю я его. – Нервно. Хотя, может, по мне этого и не видно.

– Но другие... – запнувшись на слове «Прыгун», он меняет его на «такие, как ты», – никогда об этом не говорят.

– А я плохой Прыгун. Неправильный.

Ральф замер, его глаза лихорадочно блестят, как будто он умудрился откопать в канаве что-то невообразимо ценное и теперь никак не может в это поверить.

– Что значит «плохой»? – спрашивает он.

И я вдруг понимаю, что, может быть, мне этот разговор даже нужнее, чем ему. Потому что никто никогда не спрашивает себя о том, что и так понятно. Или кажется понятным.

Откидываюсь на спинку скамейки и зажимаюсь. Солнце бьет прямо в глаза. Хороший предлог не смотреть на собеседника.

– Я этого не люблю.

Чтобы понять, как он удивлен, на него и смотреть не надо. Отвечаю на вопрос прежде, чем он успевает его задать:

– Я не прыгаю. Не обязательно делать то, что можешь. Не обязательно это любить.

Открываю глаза, гляжу на него, затаившего дыхание, как будто даже дыханием меня можно спугнуть, и объясняю:

– Со мной это случилось в то самое утро. Впервые и сразу

на шесть лет. Когда я пришел в себя и мне дали зеркало, я не лысины своей испугался, как все подумали. А того, что в зеркале отразился мальчишка. Которым я уже не был. Представьте себе это, если сможете, и вы поймете, почему с тех пор я больше не прыгал.

– Хочешь сказать, ты с тех самых пор?..

– С тех самых пор. Не делал этого и не собираюсь. Разве что все произойдет само собой. Я могу перенервничать, испугаться чего-нибудь, испытать сильное потрясение. В таких случаях иногда прыгается. С вами не случилось?

– Я не... – начинает он.

– Наверняка случилось. Просто вы ничего не помните. Это забывается очень быстро.

Ну вот. Теперь он поперхнулся и закашлялся. А мне не с руки стучать его по спине. Очень трудно рассчитать силу удара протеза, из-за этого мне не удаются многие дружеские жесты. Втягиваю ноги на скамейку, кладу подбородок на колено и гляжу, как он судорожно кашляет. Он как ребенок, играющий со спичками. Заиграется в папу и в пожар – а потом удивляется, когда вдруг приезжает машина с настоящими пожарными. Хотя в его детских книжках яркие картинки подробно объясняют, как одно вытекает из другого.

– Сейчас вам захочется прервать меня, – предупреждаю я. – Или просто куда-нибудь уйти. Это со всеми так, не беспокойтесь.

Ральф сидит, ссутулившись, запустив пальцы в волосы.

Лица его мне не видно, но, судя по позе, чувствует он себя не очень хорошо.

– Я никуда не собираюсь уходить. – говорит он. – И мне вовсе не хочется тебя прерывать.

Стойкий человек.

– Зря, – отвечаю я. – Мне, чем дальше, тем меньше нравится наш разговор. И вообще у меня здесь свидание.

Он явно не верит. Я опять откидываюсь на спинку скамейки и закрываю глаза.

Как мы колотили в ту треклятую дверь! Чуть не снесли ее вместе со стеной. Если бы нас не выпустили, мы бы в конце концов ее высадили. Потому что утром нашему терпению пришел конец. Всю ночь мы просидели взаперти, покорно и терпеливо, уважая волю старших и их великие дела. Мы знали, что еще не доросли до того, чтобы принимать участие в таких вещах. Было до слез обидно, но мы сдерживались. Та ночь была последней для старших, а не для нас. Она принадлежала им. А мы провели ее в кабинете биологии на двух брошенных на пол матрасах, которыми они не забыли нас снабдить. Матрасами и ведром.

– Нас было четырнадцать или пятнадцать человек, – говорю я Ральфу. – Нам не дали ни одеться, ни обуться. Сямцев, Вонючку и Волка увели куда-то в другое место. Видно, вычислили, что этих запертая дверь не удержит. Слепого так и не нашли. Он слинял еще до их появления. Единственный из нас, кого в ту ночь не заперли. Кроме пижам, у нас

был только костыль Фокусника и пакет карамелек. Карамель мы сгрызли в первые полчаса, а костылем утром измолотили дверь... Мы лупили по ней, чем попало, лишь бы высадить, ведь мы уже поняли, что о нас забыли и что выбираться придется своими силами.

Ральф морщится от неприятных воспоминаний. Он тоже был там. Кажется, даже среди тех, кто нас выпустил. Эти люди пытались нас удержать, но легче было бы удержать четырнадцать хвостатых комет. Разметав своих спасителей, мы помчались по коридору, крича охрипшими голосами.

Некоторые из нас плакали уже тогда, на бегу, просто от страха, ведь мы еще ничего не знали. Куда мы неслись сломя голову, куда спешили, я до сих пор не могу понять, зато хорошо помню, что нас остановило. Лужа. Небольшое густо-бордовое озеро на Перекрестке. В центре него плавал наполовину затонувший кораблик носового платка. Он до сих пор иногда снится мне. Была ли та лужа и в самом деле огромной? Во всяком случае, достаточно большой, чтобы сообразить: никто не может остаться в живых, потеряв столько крови. Я смотрел на нее, как загипнотизированный, и все это время на меня напирала те, кто подбежал позже. Толкали в спину, заставляя делать шаги в ее направлении. Шажок за шажком, пока я не почувствовал, что носки у меня промокли. После этого я уже ничего не помню.

Спустя шесть долгих лет я вернулся и наконец узнал о событиях той ночи, но для меня они навсегда и остались чем-

то далеким, полузабытым. Я не пережил их вместе со всеми – одна из самых страшных ночей Дома для меня начинается и заканчивается бордовой лужей с наполовину затонувшим корабликом в центре и собственными холодными и липкими носками.

Придя в себя (шесть лет спустя по моему времени и месяц спустя для всех остальных), я увидел в зеркале странное существо: лысое, длинношеее, слишком юное, с диковатым взглядом... понял, что жизнь придется начинать заново, и заплакал. От усталости, а вовсе не из-за того, что лишился волос. «Неведомый вирус, – объяснили мне. – Скорее всего, ты уже не заразен, но желательно провести в карантине еще некоторое время». Карантин спас меня. Я успел переключиться. Успел избавиться от кое-каких взрослых привычек и свыкнуться со своим новым обликом. Персонал Могильника прозвал меня Тутмосиком. От Тутмосика до Сфинкса я дорос за следующие полгода.

Ральф молчит целую вечность.

– Странно, – говорит он после долгой паузы. – Там все было в крови. Пол, стены, по-моему, даже потолок. А твое сознание вместило одну-единственную лужу.

– Мне ее хватило, – уверяю я. – Мне ее более чем достаточно. В моей луже – вся та Ночь. И все последующие дни.

– А потом...

– А что было потом, я не стану рассказывать. Это не имеет значения.

Он опять со вздохом лезет за сигаретами:

– Ладно. В любом случае, спасибо. Ты первый, кто говорил со мной о таких вещах. За пятнадцать лет. Мне, наверное, больше не стоит тебя ни о чем спрашивать?

– Не стоит. Чем меньше разговоров на эту тему, тем лучше.

– Ты меня запугиваешь?

– Запугиваю, – соглашаюсь я. – Пытаюсь, во всяком случае. Только вы слишком твердолобый, чтобы как следует испугаться. А это плохо. Дом требует трепетного отношения. Тайны. Почтения и благоговения. Он принимает или не принимает, одаряет или грабит, подсовывает сказку или кошмар, убивает, старит, дает крылья... это могущественное и капризное божество, и если оно чего-то не любит, так это когда его пытаются упростить словами. За это приходится платить. Теперь, когда я вас предупредил, можем продолжить разговор.

– Рискуя... чем? – осторожно спрашивает он.

– Не знаю. Гадайте сами. Может, у вас получится. Ведь на самом деле вы знаете намного больше, чем думаете.

Ральф смотрит на меня довольно раздраженно.

– Хватит играть словами! – требует он.

Смешной человек... теперь получается, что я играю словами.

– О, вы не знаете, как играют словами, – уверяю я. – В Доме есть настоящие мастера этого дела. Мне до них далеко.

И тут наконец появляется Русалка. Медленно бредет к нам через двор от девчачьего крыльца. Джинсы-клеши, плетеная веревочная жилетка и волосы сказочной длины, всего на ладонь не достающие до колен.

Ральф прищуривается. Смотрит на нее, потом на меня. Странно смотрит. Этот взгляд мне хорошо знаком. Русалке шестнадцать, но выглядит она двенадцатилетней. С ее внешностью полагается верить в Деда Мороза и играть в куклы. Поэтому любой взрослый, увидев нас вместе, смотрит на меня как на извращенца. Русалку это напрягает, меня нет.

Она останавливается довольно далеко, не желая мешать беседе. Просто стоит и глядит на нас. Совсем не детскими глазами. Необычно большими на маленьком треугольном лице.

Ральф встает. Хлопает себя по карманам, проверяя, все ли на месте. Слава богу, не говорит: «Это и есть твоя девушка?» Такого рода реплики Русалка читает по губам с огромных расстояний.

– Все, – говорит он. – Спасибо. Пойду переваривать наш с тобой разговор.

– Удачи вам, – отвечаю я. – И будьте осторожнее. Мы можем ходить вокруг этих тайн, называть себя Прыгунами или Ходоками, писать об этом стихи и петь песни, но суть от этого не меняется. Не мы решаем здесь, решают за нас, как бы нас это ни пугало.

Ральф медлит, понимая, что мы вряд ли когда-нибудь вер-

немся к нашему разговору. Но говорит только:

– Будь осторожнее и ты.

И уходит.

Проходя мимо Русалки, кивает и что-то ей говорит. Потом напрямую пересекает газон, и сутулые вороны отпрыгивают у него из-под ног, недовольные нарушением их прозрачных границ. Все-таки для людей существует асфальт.

Русалка подбегает и плюхается рядом со мной на скамейку.

– Ух ты, ну почему я его так боюсь? Он же безобидный!

– Да?

– Не смейся, – хмурится она. – Я знаю, что все это глупости, но ведь чего только о нем не рассказывают.

Русалка погружается в свои мысли, потом решительно встряхивает головой.

– Конечно, это чепуха. Он – хороший.

Я смеюсь.

– Он со мной поздоровался и не назвал меня деткой, представляешь?

Мысленно аплодирую Ральфу.

– А о чем вы с ним столько времени разговаривали? Мне казалось, что он никогда не уйдет.

– Секрет, – говорю я. – Страшная тайна. Так и передай всем, кто, наблюдая за нами, чуть не поываливался из окон.

– Сейчас побегу передавать! – фыркает Русалка. – Они меня там ждали. Машут сигнальными флажками и уже

поставили магнитофон на запись.

Ничуть не огорченная, что ей не расскажут о содержании нашей с Ральфом беседы, она придвигается ближе и начинает наматывать мне на ногу свои волосы. Обмотав, завязывает узелками. Вид у нее при этом очень сосредоточенный.

– Это что, какая-то новая магия? – удивляюсь я. – Я и так не собирался убежать.

– Это Табаки подарил мне книгу, – объясняет Русалка. – Очень интересную. «Кама Сутра» называется.

– О боже! – вздыхаю я.

– И там сказано, что для привлечения к себе возлюбленного следует оплести его путами душистых волос, увешать цветочными гирляндами и воскурить вокруг благовония. Очень красиво все это описывается. Ах да! Еще его надо обмазать какими-то ароматическими маслами.

– С ума сойти! А там ничего не сказано о задохнувшихся возлюбленных, чьи маслянистые тела, обвитые волосами и гирляндами, выносят на крылечки пугать прохожих?

– Ничего, – качает головой Русалка затягивая у меня под коленом волосяную петлю. – О таких слабаках там речи не идет.

Дальше мы сидим, вернее, лежим на скамейке, возможно, в чем-то и соответствуя древним трактатам о подобающем влюбленным поведении. Дуб, переступив с корня на корень, становится так, что мы оказываемся в его тени. А может, просто солнце перемещается. Но приятнее все-таки ду-

мать, что дуб.

Я засыпаю, на этот раз по-настоящему. Присутствие Русалки, обнявшей меня за колено, действует как снотворное, у нее есть этот кошачий дар – усыплять и успокаивать, а еще самой засыпать в неподходящих и неудобных местах. Будь у меня пальцы, я мог бы высечь искры из ее волос, как из кошачьей шкурки, погладив их. Я сплю и не сплю, я здесь и сейчас, на этой скамейке, но все остальное отползает прочь – надпись на стволе, разговор с Ральфом... Все, кроме меня, спящего, и моей девушки, той, что донашивает мои рубашки, спит на моих ногах, как в кресле, закутывается в рукава моих курток, исчезает с первыми признаками грозы и появляется с первыми лучами солнца. Самое удивительное в ней – чуткость к чужим настроениям, умение раствориться в воздухе, как только в том появляется необходимость.

Ветер доносит чьи-то голоса. Вздрагиваю и открываю глаза. Нога моя уже освобождена от волос, а Русалка смотрит снизу вверх, очень внимательно и напряженно. Такой она бывает только когда уверена, что ее никто не видит.

– Как ты сразу из-за всего просыпаешься, – огорченно говорит она. – Из-за каждого писка. Так нельзя. Человек должен спать долго и крепко.

– Похрапывая и вздымая волосатую грудь, – заканчиваю я. – Вот только я бы не назвал эти Песьи завывания писком. Интересно, что у них стряслось? Может, свежий вожак демонстрирует силу своих мускулов?

– Не такой уж он свежий. Просто ты никак не привыкнешь.

Мне действительно трудно свыкнуться с мыслью, что Черный стал вожаком шестой. Хотя, по зрелом размышлении, там ему самое место. Трон Помпея даже не пришлось подгонять под новый размер, а Псы получили то, в чем всегда нуждались: сильную руку, придерживающую их за ошейник.

– Знаешь, – говорит Русалка, – что удивительно? Когда ты говоришь о Черном, у тебя даже голос меняется. Становится как будто не твой. Не понимаю, за что ты его так ненавидишь?

– Я тебе сто раз объяснял! – изумляюсь я.

– Объяснял. Но я твоим объяснениям не верю. Ты не настолько злопамятный, чтобы ненавидеть кого-то потому, что он когда-то, давным-давно, тебя обижал. Это на тебя не похоже.

Она настолько убеждена в своих словах, что мне становится не по себе. Я вовсе не тот безупречный Сфинкс, которого она любит. Но и это не самое страшное. Самое страшное, что мне очень бы хотелось им быть. Правильным, добрым, всепрощающим парнем, который ей так нравится. Будь я таким, то, наверное, светился бы. Источал бы сияние и неземные ароматы, как покойный святой.

– Это очень на меня похоже. Это я и есть. Мои подлинные злобные эмоции!

Русалка даже не спорит. Прикусывает палец и погружает-

ся в задумчивость. Она не любит споров, не любит ничего доказывать и отстаивать свою точку зрения. От этого ее позиции не делаются слабее.

Легонько бодаю ее лбом:

– Эй, не уходи слишком далеко. Мне тебя там не видно.

– Расскажи что-нибудь интересное, – тут же просит она. –

Тогда не уйду.

– О чем?

Лицо Русалки озаряется. Удивительно, до чего она любит всякие истории. Все равно о чем. Занудные и хромающие на каждый слог жалобы Лэри, путанные и ветвистые Шакальи повести – ее ничто не отпугивает, она готова часами слушать всех, кому вздумается излить в ее присутствии душу. Это ее качество кажется мне одним из наиболее странных и наименее присущих ее полу.

– Так какую тебе историю? – заражаясь ее радостью, переспрашиваю я.

– Расскажи, как Черный стал вожаком, ладно? – просит она.

– Дался тебе этот Черный! Что ты им так заинтересовалась?

– Ты сам предложил рассказать. И спросил, про что. А интересно мне, потому что он мне вообще интересен. Как человек, которого ты не любишь.

– Не любишь – это слабо сказано.

– Ну вот. Как же мне может не быть интересно?

Я только вздыхаю.

– Не хочешь рассказывать? – подозрительно уточняет Русалка. – Так я и думала.

– Да нет. Просто боюсь тебя разочаровать. Я ведь и сам не знаю, как это произошло. Могу только догадываться. Они со Слепым торчали в Клетке. Делать им там было нечего. Слепого осенила идея отправить Черного вожакom в шестую. В изоляторе и не до такого можно додуматься. Он это предложил, и Черный каким-то чудом согласился, хотя на него это не похоже: соглашаться, когда можно отказать. Вот и все. Может, это было не совсем так, но меня там не было, да и никого не было, кроме них двоих, а значит, только они и могут знать, что и как у них там произошло.

– А как они очутились там вдвоем?

– Это совсем другая история. Которую я не хочу вспоминать. Она началась в Самую Длинную, а я не люблю...

– Ох, Самая Длинная!..

Русалка умоляюще дергает меня за фуфайку.

– Расскажи, пожалуйста! Самая Длинная – это так интересно! Все эти истории...

– Которые ты слышала тысячу раз. Попроси Табаки. Он прочтет тебе посвященную этой ночи поэму в двести строк. Или споет одну из тех десяти песен, что подлиннее. Той ночью у нас была Рыжая. Пусть она что-нибудь расскажет. Зачем мне повторять то, что ты и так уже знаешь наизусть? То, что все знают?

– Рыжая – одно, ты – совсем другое. Я не прошу пересказывать песни Табаки или его стихи. Хотя, если тебе неприятно, можешь вообще ничего не говорить. Только я не понимаю, почему? Ту ночь все любят вспоминать...

– И Рыжая? – уточняю я, заранее уверенный в ответе.

– Она – нет. Она тоже морщится и молчит, как ты.

– Поднимайся выше, – говорю я. – Слушай – и поймешь, почему в отличие от всех остальных я не люблю вспоминать ту ночь.

Русалка живо влезает на скамейку и пристраивается у меня под боком. Ее длинная веревочная жилетка сплетена так, чтобы ряды мохнатых узелков по всей ее ширине свободно сдвигались, а в открывающихся прорехах читались те надписи на майке, которые Русалке вздумается предъявить для прочтения. Таких маек, исписанных на все случаи жизни, у нее больше десятка. Но когда она сидит так, как сейчас, из надписей можно разглядеть только самую верхнюю, у левого плеча. «Я помню все!» Что имеется в виду под этим многозначительным «все», непонятно.

Может, ситуацию проясняют надписи, которые следуют ниже и мне не видны.

Рукав моей заляпанной грязью фуфайки она обматывает вокруг шеи, рюкзачок вешает на спинку скамейки.

– Ну давай, рассказывай.

И я со вздохом ныряю в кровавый омут «Самой Длинной», в ее беспросветный мрак, о котором в Доме слагают

легенды. Ныряю и плыву, разгребая всю ту муть, все те обглоданные кости, которым в этих легендах обычно отдается предпочтение.

Начинаю оттуда, откуда Самая Длинная началась для меня. Здесь предполагаются вздохи слушателей: «Как, а до того ты просто спал, и все?!» Я честно выдерживаю паузу, давая Русалке возможность высказаться, но она ей пренебрегает, так что я бреду дальше – за Горбачом, освещающим мне путь в поисках Толстого.

... Что такое «Охота на Снарка» в сравнении с «Охотой на Толстяка» в Шакалином исполнении! «Влюбленным нежно и страстно, ползущим в ночи влюбленным, скребущим тоннели в стенах, грызущим стальные двери...» И так далее, в том же духе, с небольшими вариациями, по прихоти рассказчика превращающими Толстого из нежного влюбленного в похотливого маньяка и обратно, а нахождение его Сфинксом, «который и обнаружил», преподносится всякий раз по-иному, так что я в каждом новом куплете совершаю все более небывалые и неслыханные подвиги, то вытаскивая Толстого из-под кирпичных обломков обрушенной им стены (слушая эту версию, я представляю себя сенбернардом, большим и лохматым, с медицинской сумочкой красного креста на груди), то извлекая его (зубами) из алькова невинно спящей училки, чьи обнаженные прелести, естественно, на виду. Во всех вариантах моим зубам отводится решающая роль, а Горбач как действующее лицо вообще замалчивает-

ся, и вот так, с Толстяком в пасти, я пересекаю огромные коридорные пространства, при этом мы еще умудряемся каким-то образом беседовать, я – нежно увещевая, он – пока-янно мыча. И так серо и убого выглядит в сравнении с этим кошмаром действительность, что я побыстрее пробегаю ее галопом, весь свой ночной спотыкливый путь, вверх по лестнице с Горбачом, обратно – с ним же и с Толстым... Лорд, Стервятник, Слепой... и вот мы уже в спальне, где Табаки исполняет самые ранние версии песен, посвященных С. Д.

«Вы ж понимаете, этому желторотику вздумалось прогуляться в потемках. Вы ж понимаете, чем бы все это пахло, не будь меня рядом? Мы ехали в крошечной тьме, но все-таки продвигались вперед, и я сказал ему: „Нет, ты все-таки псих, дружище!“», а он ответил: «Откуда ж я мог знать?»

Режущий глаза электрический свет и ошоловелые лица. Лэри возбужденно цокает языком, подливая жару в огонь Шакалиных историй, Дом – под черным одеялом, закутан по самую крышу, и я думаю – интересно, надолго ли хватит воздуха здесь, внутри, и что будет, когда он закончится...

Воспаленноглазая стая в пижамах, затухающий концерт в честь Рыжей, сидящей меж Лордом и мной, я считаю часы и минуты и уже начинаю надеяться, несмотря ни на что, надеяться, что, может быть, воздуха и ночи хватит на всех, до тех самых пор, пока не настанет утро, но появляется высокая, траурная фигура Стервятника с кокосом в руке, траур в одежде, в глазах и в голосе, больше всего он похож на ка-

дыкастого Гамлета с черепом Йорика, усохшим от долгого пребывания в могиле. С его появлением я перестаю надеяться, что часы и минуты сдвинутся с мертвой точки, в которой увязли по крайней мере до тех пор, пока мы не услышим печальную весть, которую он намерен сообщить.

Стервятник катает на ладони мохнатый кокос:

– Мне очень жаль вам об этом говорить, действительно, очень жаль, но мне больше не к кому пойти с этим, и... одним словом, у нас в туалете – покойник. Я его там нашел только что.

Сдавленный писк гармошки Шакала.

– Прошу прощения, – вздыхает Стервятник. – Мне действительно очень жаль...

Краб, которого мы понесем часом позже на первый, при жизни – незаметное, прожорливое существо с двумя пальцами на каждой руке, непонятно зачем очутившееся в пределах Гнезда, чтобы принять там свою смерть непонятно от чего, станет загадкой Самой Длинной, которую не разгадают ни тогда, ни потом.

Завернутого в Перекресточную занавеску (бело-серый шлейф, картинно уползающий в хвосте процессии), мы спустим его в актовый зал и оставим там, в окружении консервных банок, утыканных свечами, очень торжественного и одинокого, а на обратном пути Черный прикинется сумасшедшим или и вправду спятит (я знаю, что это такое, быть терпеливым наблюдателем и ждать, ждать, пока не настанет

тот единственно подходящий момент, когда ты наконец сможешь что-то предпринять) и громогласно объявит нам свое мнение о происходящем. Безумную ночь расколется пополам, в черные щели темноты на нас хлынет рой светлячков-фонариков в дрожащих руках, а беснующаяся фигура будет приседать и надсаживаться в центре коридора, сверля своим визгом стены и потолочные перекрытия, вверх и вниз, протыкая самую неподвижность времени... И тогда, и позже мне будет казаться, что именно с этого ора начался отсчет секунд, как будто кто-то, разбуженный им, проснулся где-то в неведомом мире, имеющем власть над миром этим, лениво потянулся, стукнул по остановившимся часам, и они пошли...

Возможно, за это следовало бы благодарить именно Черного, но я почему-то не испытываю такого желания. В дальнейшем у многих войдет в привычку, вспоминая о Самой Длинной, отмечать невыдержавшие нервы и съехавшую крышу бедняги Черного. Что такого стряслось с его нервами, чего не случилось тогда же с нервами всех остальных, включая мои, я так и не понял, а относительно «поехавшей крыши»... мне как-то не доводилось видеть, чтобы, съехав, «крыши» так быстро восстанавливались на прежнем месте без ущерба для их владельцев. Можно даже сказать, что, впад в ту свою сомнительную истерику, он сделал первый шаг к опустевшему трону Помпея, хотя тогда это было больше похоже на пробежку в объятиях смиренной рубашки. Можно понять всех, кому приятно, грустно покачивая головами, упо-

мянуть сдавшие нервы такого типа, как Черный, безмолвно подразумевая собственные, оказавшиеся не в пример крепче. «Видывали мы и не такие виды. Тяжелая была ночь. Мда. Бедняга Черный...» К счастью, в отличие от них я не горжусь крепостью своих нервов и могу позволить себе усомниться в его слабонервности, продемонстрированной так эффектно и неожиданно, но все это будет потом, позже, а тогда, услышав его визг, я испытаю только шок и желание побыстрее прервать этот звук. Одновременно со мной аналогичное желание возникнет у многих, и, облепив орущего Черного, как куча муравьев дохлую гусеницу («Убийцы! Укрыватели убийц!»), вся эта масса покатится по коридору, глуша своими телами его вопли, а у самой нашей двери он стряхнет нас с себя и кое-кого потопчет, отчего орущих и чертыхающихся в потемках станет еще больше.

На подступах к Черному (заткнуть, прервать, истребить на вечные века эту верещащую пасть!) я споткнусь, выбью плечом чей-то зуб и прокушу себе губу, а когда все же окажусь у двери спальни, там уже не будет ни Черного, ни его жертв, все просочатся внутрь, где на нашей, во все времена заповедной для чужих территории, Ночь разматывает еще один виток своего бесконечного хвоста, а Черный и Слепой потешат публику «славной драчкой», выколачивая друг из друга кровавую пену и пыль. Зрелище, при пересказе которого Логи, Шакалы и прочие историки достигнут высшей степени совершенства. Табаки, например, на полном серьезе будет

утверждать, что самый сокрушительный удар Слепому Черный нанес с криком: «Любишь меня, люби и мою собаку!» – а Слепой, пропахивая затылком паркет, тем не менее, успел провизжать: «Не дожدهшься!» – после чего Черный, с ревом постучав себя в грудь, раздвинул железные прутья на спинке кровати и рявкнул: «Ну тогда – готовься к смерти!» Потрясающая история! Чего стоит одно раздвигание прутьев. И ведь никто не спрашивает, зачем это Черному могло понадобиться их раздвигать, все, развесив уши, с восторгом внимают. Я в том числе. Не припоминаю, чтобы Черный лупил головой Слепого о стены, хотя, возможно, падая, Слепой и стукнулся о них пару раз. Тем более не припоминаю, чтобы Слепой разрывал пасть Черному (сцена явно заимствована из греческой мифологии), и уж, конечно, Черный не падал с воплем: «Конец мне!» – а Слепой не водружал на него ступню и не закуривал устало.

Меня там тоже очень много, в этих историях. Я всегда на переднем плане, вне себя от ярости (что, в общем-то, соответствовало действительности), «выжидающий решительный момент». Интересно, какой? Наверное, я ждал, пока Слепой его уложит (или наоборот, что было менее вероятно), чтобы можно было вмешаться и поставить на этой идиотской драке крест, а заодно погнать из спальни всех оскалившихся, роняющих слюни на паркет зрителей, большинство из которых в другое время и мечтать не могли очутиться у нас, но, очутившись, вели себя по-свински, заплевали весь паркет и,

пользуясь ситуацией, где-то на задах уже шарили в ящиках, от чего у меня прямо тогда же начались жуткая аллергия и нервная чесотка. Позже мы недосчитались многих кассет, чашек и пепельниц, не говоря уже о сигаретах, которые сме-ли начисто, – я это предвидел и не очень-то удивился. Исход драки я тоже предвидел. Еще никому не удавалось уложить Слепого в драке один на один, поэтому я не особенно беспокоился, пока не заметил, что он оказывается на полу чаще, чем Черный, и встает с большим трудом. Тогда я вспомнил, что ему в эту ночь уже досталось от Ральфа, и впервые испугался. Черный раз за разом всаживал в Слепого свои пудовые кулаки, и всякий раз Слепой складывался пополам, а Черный терпеливо ждал, пока он выпрямится, чтобы врезать еще. На третий раз Слепой отлетел и обрушился на пол. Грохоту от него было не больше, чем от упавшего стула, но зрители взвыли и продолжали завывать все время, пока Бледный восполнял недостаток кислорода, а я с ужасом пытался представить себя при вожаке Черном и понимал, что раз не могу этого даже представить, то и быть такого на самом деле не должно. Я насиловал воображение, чесался подбородком во всех местах, где мог себя достать, а вокруг летали платки и пивные крышки, подбрасываемые впавшими в экстаз зрителями. Более мерзкую сцену трудно вообразить. Отдышавшегося Слепого занесло при вставании, он схватился за спинку кровати, на которой я сидел, и шепнул:

– Кошмар и позор?

– Просыпайся, – взмолился я. – Возьми себя в руки и дерись, не то он тебя изувечит.

– Пожалуй, ты прав, – согласился он. – Я что-то не в форме сегодня.

Пока мы переговаривались, Черный решил завершить начатое. Шагнул к Слепому, размахнувшись для удара, после которого Слепому, надо думать, пришлось бы нести на первый и укладывать рядышком с Крабом, но Слепой увернулся, чуть задев его, Черный задохнулся и задышался минуты полторы, после чего можно было уже не смотреть, что будет дальше, и так все стало ясно. Я вижу... Слепой отбегает от Черного, ссутулившись, прикрыв глаза, на губах – застывшая улыбка. Он не ходит и не кружит.

Это почти танец. Мягкая, неслышная пляска смерти. Самое красивое и необычное в нем то, что я видел десятки раз и никогда не мог понять, откуда оно берется. Это его прыжок в другой мир, где нет ни боли, ни слепоты, где он сдвигает время – каждую секунду в вечность, где все игра, и в этой игре запросто можно содрать с кого-нибудь кожу или проткнуть пальцем глаз, и хотя я никогда не видел ничего подобного, знаю, что это так, потому что чую в нем в такие моменты запах безумия, слишком отчетливый, чтобы не испугаться до полусмерти. В своем странном мире он превращается во что-то нечеловеческое, отбегает, ускользает, улетает, шурша крыльями, брызжет ядом, просачивается сквозь паркет и смеется. Это единственная игра, в которую он уме-

ет играть с кем-то еще. Черному его не догнать, не поймать и не удержать. Черный остался по эту сторону. Его время течет медленно.

Я вижу...

Черный опрокидывается. Падает на спину, как огромная кукла на резинке. Бледный материализуется рядом, дергает за резинку, приподнимает его и опять роняет, еще и еще раз, одним словом, играет. Это слишком страшно, чтобы казаться смешным. Он как будто и не дотрагивается до Черного, но размазывает его по паркету от двери до окон. Все вокруг в Черном. В его зубах и в его коже, и смех сверкает под волосами Слепого. Мы с Горбачом одновременно решаем вмешаться. Он соскакивает с кровати, я – со своего железного насеста. А за нами – остальные, ждавшие лишь сигнала. Пока мы отскабливаем Черного и Слепого друг от друга, Табаки замечает выдвинутые ящики и пивные лужи.

– Что такое? Всех, всех перестреляю! – орет он, лихорадочно перекапывая подушечные завалы. Гости несутся к двери, сбивая друг друга с ног, и, глядя на Шакала, я почти верю, что он вот-вот выхватит из-под подушки ствол и изрешетит пару-тройку задержавшихся Логов, но к тому времени, как он достает всего-навсего губную гармошку, в спальне уже никого, кроме своих, и, поворчав, он бережно прячет гармошку обратно в подушки, отложив страшную месть до лучших времен.

Я сажусь на пол. Слепого подталкивают в мою сторону,

он подползает, стуча зубами и кашляя, утыкается мне в плечо и затихает. Свитер его пахнет помойкой, если не канализацией. Я сижу, как статуя. Македонский и Рыжая фигурно обклеивают тело Черного пластырем. Лэри бродит по комнате, шваркая веником. Тихо, очень тихо, если не считать возбужденного бормотания Шакала. Мона с чего-то решает, что Сфинкс – единственное спокойное место в комнате, и запрыгивает мне на колени. Две проходки взад-вперед, пушистый хвост подметает узор на свитере, она ложится, нежно помяв меня лапками. Я сижу неподвижно. В ухо нервно дымит дрожащерукий Курильщик, плечом подпираю Слепого, на коленях – кошачья спальня. Еще бы Нанетту на голову, и можно фотографироваться для Блюма: «Сфинкс в часы досуга».

Уложив Черного, Македонский и Горбач нерешительно смотрят на Слепого. Табаки подползает ближе и тоже глазет.

– Кошмар, – говорит он шепотом. – Явственный вампиризм, смотрите.

Я скашиваю глаза. Слепой спит с очень умиротворенным и хорошим лицом, какого у него в бодрствующем состоянии не бывает.

– Неспроста это, – замечает Табаки. – Типичный вампир, точно вам говорю.

Лэри роняет веник и таращится на Слепого с ужасом.

– А ведь верно, люди. Чего это он довольный такой? Не с

чего ему быть довольным и спать тоже не с чего. Не нравится мне все это.

Табаки наслаждается.

– Такими они и бывают, Лэри, дружище. Лежат себе в гробах с румянцем во всю щеку и с улыбочкой. Так и распознают ихнего брата. Осиновый кол – в сердце и...

Из угла Черного доносится рычащий стон, и все вздрагивают. Там Лорд колдует над опухшей, безглазой головой спиртовыми примочками, а Нанетта подглядывает за его действиями из-за подушки.

– Осиновый кол, – бормочет Табаки. – Такой заостренный...

Черный рычит и отталкивает руку Лорда.

– В язык бы тебе этот твой кол, – возмущается Лорд. – Не надоело тебе, Табаки? Не устал ты от всего?

– Да. О чем это я? Кажется, я утратил нить повествования.

– Смотрите! – вдруг кричит Рыжая, указывая на окно. – Смотрите же!

Горбач с Македонским бросаются к окнам, а мы поворачиваемся и тоже смотрим туда, в черно-синее небо, где блеклая трещинка утра высветлила и разрежала горизонт.

– Утро! – патетично восклицает Лэри, взмахивая веником. – Солнце! (Хотя никакого солнца нет и в помине.) – Ура! – Он салютует веником в направлении окна – и на нас с Курильщиком плавно пикируют сизые катышки пыли впоремешку с окурками.

Так она закончилась, эта гнусная ночь, хотя, конечно, не совсем в тот момент, когда мы заметили первые признаки утра, и даже не тогда, когда оно по-настоящему наступило. То есть, понятно, что окружавшее нас уже не было ночью, но называть эту серую хмарь утром я бы тоже не стал. Скорее переход от одной ночи к другой, такое описание ближе к истине. Тем более, никому не удалось толком поспать и проснуться, я даже не помню, был ли в то утро завтрак, и вообще мало что помню, только себя в какой-то момент, Слепого, сидящего рядом с гитарой, в комнате серо, как будто уже опять вечер, и пустые бутылки выстроились на тумбочках, хотя я опять же не помню, чтобы кто-то из них пил. Негодующий возглас Лэри, поднимающего пустую бутылку:

– А они тут пьянствуют, пока мы там запасаемся для них пищей и беспокоимся!

Под «там», надо полагать, подразумевается столовая, но вот обед или завтрак, непонятно, а «они» – это кто-то еще и я сам, потому что не помню, чтобы отлучался куда-то и что-то ел, значит, скорее всего, был в числе пьянствовавших.

Помню Лорда, укрывающего спящую Рыжую, и Черного, дымящего на своей кровати. Черного, живых мест на котором – только сигарета и глаз, все остальное – белые переkreшивающиеся полосы пластыря. Слепой кивает в такт своей песне, голубовато-серый, цвета заношенных джинсов, как воскресший Лазарь, все еще в бывшем белом свитере, воня-

ющий вином и спиртовыми примочками. Сгибается над гитарой, звенит струнами, нашептывая невнятный текст, что-то про лес с нехоженными тропами и ручьями, горькими от травы, растущей вдоль их берегов.

Рыжая спит, съезжившись между подушками, зажав ладони между коленями, волосы – алыми перьями подстреленного дятла, все остальное – незаметное и повседневное, даже она сама на этом месте как нечто привычное, что там и должно находиться, на что никто уже не обращает внимания, за исключением одного-единственного человека, укутывающего ее одеялом, который, как скупец, что прячет свое самое главное сокровище от посторонних глаз.

Лэри подбирает с пола бутылку и негодуяще встряхивает:
– Они тут пьянствуют, пока мы там запасаемся для них пищей и беспокоимся.

– А ты не беспокойся попусту, – советует ему Черный. – Побереги нервы.

Я слушаю. Внимательно вслушиваюсь в его интонации, в которых скрыто присутствует удовлетворение, и мне интересно, чему он так радуется, избитый, невыспавшийся, голодный Черный, а потом перевожу взгляд на Слепого и догадываюсь, как оно выглядит, то, чему он радуется под своими бинтами. Оно выглядит как лицо Слепого с заплывшим глазом и рассеченной губой. В день, когда найден покойник. Когда каждая царапина – знак причастности к чему-то, причастности и виновности. И ему плевать, что на нем самом их

не меньше, этих отметин, главное, что они есть у Слепого.

«Лес, лес... Темный, душистый, пахнувший мятой... сладкие песни – заманки для путников...»

Черный гасит сигарету о брюхо культуриста на плакате у себя в изголовье.

– Что отвечать Ральфу, если спросит про синяки?

Избитый, невыспавшийся и так далее честно спрашивает у состайников, как ему вести себя в трудной ситуации. Казалось бы, не причина ни для кого покрываться зудящими пятнами от щек до пупка, пятнами, которые будут чесаться и через неделю после появления, но я чувствую их на себе, мелких и жгучих букашек, стремительно расползающихся под свитером, кусливых и липколапчатых, как будто кто-то забросил их целой горстью мне за ворот.

– Говори то, что и собирался, когда начал голосить, – предлагаю я. – Или молчи, какая разница? Для твоих планов одинаково хорошо подходит и то, и это.

Бешеные искорки просачиваются в моем направлении сквозь полосы пластыря.

– На что ты намекаешь?

– Да ни на что. Просто я бы на твоем месте не стал так быстро приходить в себя после приступа безумия. Ты ведь спятил, Черный! Не далее как вчера. Мог бы оставить всякие разумные вопросы на потом. Это выглядело бы более естественно.

Я говорю и говорю, и не могу остановиться, она смахивает

на лекцию, моя речь, и, помнится, даже красива, а не только длинна. Хотя здесь я, возможно, выдаю желаемое за действительное, потому что явственно припоминается палец, которым я качал перед запластыренным носом Черного, а откуда бы взяться пальцу в моем организме? Я провел экскурс по классическим образам безумцев, вытащил на свет Офелию и капитана Ахава, рассуждал о поросячьих хвостах, невооруженным глазом различимых под чьими-то юбками, о любовниках, прыгающих в окна при появлении мужей, но забывающих прихватить трусы и ботинки, я говорил долго и вдохновенно, хотя мне мешали встревоженные аплодисменты Табаки и атаки букашек, а когда завершил свою речь, Черный поинтересовался, что я имел в виду «под всей этой бредятиной».

Табаки советует Черному «не будить лиха, пока оно тихо», потому что «видно же, как он сильно-сильно нервничает, а тебе все мало, да?».

– Слушай глас народа, – говорю я. – Офелия, до речки не добежавшая...

При упоминании речки подлинный кандидат в сумасшедшие, избитый вожак и лесопроходец кивает и говорит, что «реки – это такая опасная субстанция... никогда не знаешь, можно ли из нее пить. Лежи и слушай, пока точно не вычислишь, есть ли в ней лягушки, и, если есть, смело можешь пить, не отравишься».

– Спасибо, – говорю я Слепому. А Черному говорю:

– Вот. Учись у мастера, – и, не слушая его агрессивно рычащие ответы, ухожу, чуть-чуть не до конца объединенный скребущими насекомыми, столкнувшись в дверях с Ральфом, серым от бессонной ночи и тоже обклеенным пластырем.

Все, что будет дальше, можно предвидеть, и я все это предвижу. Клетку для Черного и Слепого, в которой они, возможно, сожрут друг друга от скуки и взаимной неприязни, допросы и выяснения обстоятельств смерти Краба, разброд среди Крыс, оставшихся без вожака, и еще многое, в связи и без связи с вышеперечисленным. Чего я не могу предвидеть, так это того, что, насидевшись в Клетке, Слепой и Черный придут к соглашению о шестой. Как же им, наверное, тошно было сидеть там вместе, если Слепого осенила такая идея, и как же Черному не хотелось возвращаться в стаю, если он на это согласился. Может, посиди они в изоляторе дольше, Слепой придумал бы что-нибудь еще. Клетки способствуют размышлениям, если не оставаться в них слишком долго. Чем дольше сидишь, тем сильнее одолевают страхи, и тут уж не до размышлений, но двое могут продержаться и неделю, а плен Черного и Слепого побил все Клеточные рекорды – одиннадцать дней с хвостиком. Не будь я лыс, на моей голове появилось бы ровно столько снежно-белых волос, по одному на каждый день их отсутствия. Благодарить за это следовало Ральфа, опасавшегося за беглецов Крысятника. С чего-то он решил, что Слепой передушит их, как толь-

ко получит такую возможность, и очень старался, чтобы тот ее не получил, так что у Слепого было навалом времени для всяких светлых идей. Они с Черным изредка обсуждали эти идеи, а все остальное время играли в карманные шахматы и отпарывали стенную обивку в поисках сигаретных тайников. Такой обычай завели пленники Клеток с тех пор, как Волк всенародно объявил о зашитии блока сигарет на просторах стен изолятора. Скорее всего, это была шутка, и пока не попадешь в изолятор, она так и воспринимается, но все, кто провел в Клетках больше двух дней, теряли чувство юмора и начинали искать тайник. Поэтому по стенной обивке там тянулись заплаты и швы на местах разрезов, где пленники орудовали бритвами и когтями, и со временем не осталось ни одного нетронутого участка длиннее десяти сантиметров. Проверенные места было принято зашивать, для чего и оставлялись над дверью иголки с продетыми в них нитками, но Слепому и Черному они не понадобились, потому что они от нечего делать доискались до штукатурки и даже до кирпичной кладки.

Акула всерьез заподозрил их в намерении прорыть ход в Наружность и сбежать. После Фитиля и Соломона с Доном он стал очень нервным на этот счет и все выпрашивал Черного, куда бы они со Слепым пошли, если бы у них что-то получилось, наверное, думал таким образом отыскать тех троих, как будто Серодомный люд, как косяки мигрирующих лососей, способен двигаться только в одном направлении.

Сам я не видел, что они там сотворили, но, судя по длительности ремонта, ущерб изолятору был нанесен изрядный.

Я спохватываюсь, что говорю слишком долго, не слыша ответных реплик, и с подозрением гляжу на Русалочью голову, соскользнувшую с моего плеча куда-то под мышку.

– Эй, ты часом не спишь, любительница историй? Я ведь для тебя стараюсь, сотрясаю воздух...

– Нет, конечно, – отвечает преувеличенно бодрый голос, слегка приглушенный рукавом моей фуфайки. – Я внимательно слушаю. И размышляю.

– О чем именно ты размышляешь с таким сонным видом?

– Ну, – она отстраняется, и я опять вижу надпись в прорезях жилетки о том, что она помнит все, – я думаю, как сильно отличаются друг от друга рассказы об одном и том же, притом что ни один из рассказчиков по-настоящему не врет.

– Все зависит от рассказчиков. Ни один рассказ не может передать действительность такой, какой она была. Я уже сказал тебе, что предпочитаю истории Табаки.

– Ну а я предпочитаю сравнивать разные истории.

Жалобно кряхтя, она выпрямляет согнутые ноги и вытягивает их. Легкие кеды, серые от долгой носки, заштопаны у кромки резиновых носков. До того детские и трогательные, что невозможно смотреть на них спокойно. Когда Русалка меняет позу, узелки на ее жилетке сдвигаются, открывая новую надпись. «Ненависть до гроба!»

– Это еще что за ненависть? – удивляюсь я. – И к кому?
Она опускает голову, рассматривая надпись.

– Ну... просто так. На всякий случай. Надо же иметь и что-то такое мрачное.

– По-моему, вовсе не обязательно.

«Ненависть до гроба» скрывается под пепельными узелками, и мне сразу становится спокойнее. Все это игры, ребячьи развлечения, но я отношусь к таким вещам серьезно. Может, оттого, что знаю: никто в Доме ни во что не играет просто так.

Русалка поднимает к лицу колени и обнимает их, грустно сгорбившись. Ни надписей, ни человека, одни струящиеся потоки волос.

– Ты считаешь, что мне не подходят сильные чувства? Что мне это как бы не идет, да?

Я наступил на больное место. Вечно забываю об этом ее комплексе Серой Мыши: «Понимаешь, я ведь не личность, ну, не яркий человек... У меня все так тускло и неинтересно внутри...» Комплексе, с которым бесполезно бороться, приводящем в бешенство неуязвимостью своих позиций. «Вот, к примеру, Рыжая...» Когда перед ее глазами с трудом управляющий своими эмоциями человек, рвущий и мечущий по поводу и без повода, внезапно переходящий от смеха к слезам, не умеющий прятать ни любовь, ни ненависть: это красиво, это женственно, это привлекает, как яркие пятна на крыльях бабочки, закручивает, и уносит, и порабощает, но

очень немногие способны выдержать яркую личность Рыжей дольше нескольких часов, даже не являясь объектом ее чувств. Да здравствует Лорд, нервы Лорда, его терпение и все остальное, чего нет у меня, может, ему это ближе и понятнее, потому что он и сам был таким, пока не загремел к настоящим психам, и да, они очень хорошо смотрятся, эта парочка в вечном накале страстей – огненноволосая Изольда и кобальтоглазый Тристан, у обоих все запредельно и нараспашку, ловите кислород и прячьте подальше посуду, но почему кто-то должен комплексовать и мучиться от того, что у него все не так, вот что мне непонятно, я никогда не понимал этого, и в своих попытках убедить Русалку почти доходил до Лордовско-Рыжей точки кипения, вот только проку от этого не было ни малейшего. «Это нервы, просто нервы, как оголенные проводочки, свисают во все стороны и за все цепляются, при чем здесь личность и степень ее яркости, глупое ты существо?» – но в ответ только покачивание головой и поджимание губ, хочешь – скрежещи зубами, хочешь – бейся головой о стену, выводы сделаны раз и навсегда и пересмотру не подлежат.

А ведь есть еще Крыса – хищное существо, похожее на Слепого, как родная сестра, только еще менее дружелюбное, вот уж с кем Русалку не сравнишь, и, слава богу, но мое искреннее «слава богу!» воспринимается лишь слабым утешением Ходячемышиной Серости.

Смотрю на нее, спрятавшуюся под волосами до самых

кончиков кед, закрываю глаза и мысленно крепко прижимаю к себе руками-невидимками. Русалка послушно валится на меня, как будто я и вправду это сделал, и я вздрагиваю, пораженный ее чуткостью, она почти всегда отзывается на прикосновения моих призрачных рук, даже когда расстроена и погружена в себя, как сейчас.

– Мы ведь не будем рассуждать о ярких личностях, а? Не будем перебирать их одну за другой, таких особенных и прекрасных? – шепотом спрашиваю я ее. – Если ты не против, мы не будем этого делать. Ты ведь не против?

– Нет, конечно...

Она ерзает, задирая голову, чтобы рассмотреть выражение моего лица, но я закрываю ей обзор подбородком, опять и опять, пока она не прекращает свои попытки и не сворачивается в нежно-кошачий, привычный боку клубок.

– Как я, наверное, надоела тебе этими разговорами. У тебя сделался такой несчастный голос. Я слишком часто говорю о таких вещах?

– Нет. Не часто. Просто я не переносу эту тему: «А не хотелось бы тебе, чтобы я была как...» Нет, не хотелось бы. И никогда не захочется. Может, в один прекрасный, неповторимо исполненный мудрости день ты это поймешь. В этот день я попрошу Табаки разукрасить меня праздничными флажками и татуировками.

Она выдергивает из своей жилетки длинный шнурок или, может быть, нитку и тянет ее в рот, грызть и лохматить до

мокрой мерзости.

– Надо, пожалуй, подарить тебе эту майку. Вместе с надписью, этой и другими. У тебя ведь есть ненависть до гроба, тебе имеет смысл ее носить.

– Ты это о ком? – с подозрением уточняю я, тыча ей подбородком в пробор. – Уж не о Черном ли опять? Хочешь что-то сообщить или просто не можешь отделаться от его мужественного образа? Не припоминаю, чтобы мы раньше когда-нибудь столько о нем говорили.

– А если я и вправду хочу тебе что-то сказать? Именно о нем.

Теперь уже я тяну шею, чтобы заглянуть ей в глаза.

– Только не говори, что влюбилась в него без памяти, все остальное я как-нибудь переживу.

Она отстраняется, встряхивая волосами.

– Пожалуйста, представь себе его, если не трудно.

– Зачем?

– Ни за чем. Просто представь и все.

На всякий случай я сажусь прямее. И послушно представляю Черного. Во всей выпуклой красе его бицепсов и трицепсов. Это действительно нетрудно.

– Я представил. Что дальше?

– Теперь скажи мне, на кого он пытается походить?

– На идиота, естественно, на кого же еще?

– Нет, не так. На кое-кого хорошо тебе знакомого. Ты удивишься, когда поймешь.

Уже достаточно удивленный ее словами, я еще раз придиричиво изучаю облик Черного. Мой воображаемый Черный ничем не отличается от настоящего, я достаточно долго жил рядом с ним, чтобы изучить до мелочей.

– Не понимаю, – признаюсь я. – Он похож только сам на себя. Других таких я не знаю.

– Я говорю не о его лице. А о стиле. О том, например, как он одевается с тех пор, как стал вожаком. Ты не замечаешь в нем перемен?

Черный действительно изменил свой стиль, сделавшись главным Псом Дома. Отказался от маек-безрукавок, побрился наголо и перестал носить мешковатые брюки с подтяжками, от которых меня тошнило долгие годы. Можно сказать, его вкус изменился к лучшему. Хотя от этого он не перестал быть похожим на себя. Я говорю об этом Русалке.

– А скажи, пожалуйста, кто еще в Доме бреется наголо, носит пиджаки внакидку и головные платки, а кеды зашнуровывает вокруг щиколоток?

– Пиджаки – только я. А насчет бритых наголо... – И тут до меня доходит, что она имеет в виду. – Ты с ума сошла! Я не бреюсь наголо! И платок только недавно стал носить. Потому что ты мне его подарила! И вообще, о чем мы говорим? Он меня ненавидит лютой ненавистью. Он душем после меня не пользовался!

– А я не спорю, – пожимает плечами Русалка. – Просто это бросается в глаза любому непредвзятому человеку.

Он подражает твоей походке, манере одеваться, даже говорить пытается, как ты. Но все это только с тех пор, как он в шестой, где ты не можешь видеть, какой он и как себя ведет.

– И о чем это свидетельствует? – тупо спрашиваю я.

Русалка молчит. Глаза, как две зеленые виноградины, в которых просвечивают косточки. Очень грустные и серьезные глаза.

– Боже, какой ужас! – меня передергивает, и я почти со страхом кошусь на отсвечивающие серебром на солнце окна шестой, за каждым из которых может скрываться Черный в моем гротесковом обличье, бритоголовый и насупленный, в пиратской головной повязке, изузоренной черепками и крестиками. Это какой-то кошмар.

– Между прочим, моя повязка не в пример красивее и тяготеет к растительной тематике. Дело вкуса, конечно...

– Ох, Сфинкс, – смеется Русалка. – И не стыдно тебе? Скажи еще, что у тебя ноги длиннее...

– А что, разве не так? И форма черепа благороднее. И слабо ему, со всеми его...

– Кончай! Тебе сейчас не хватает только слюнявчика и помочей крест-накрест. Можно подумать, он делает тебе что-то плохое.

Мы замолкаем и некоторое время рассматриваем окружающий пейзаж. Это вовсе не ссора, мы никогда не ссоримся, просто благоразумная пауза для утряски информации. В таких паузах обычно курят, но Русалка некурящая, а у меня

с собой ничего нет, поэтому я терплю и только на всякий случай обшариваю глазами землю под скамейкой в поисках окурков, которые чаще всего прячутся в таких вот местах.

– Пошли? – предлагает Русалка. – У меня, кажется, нос обгорел. Тебе было очень неприятно то, что я сказала?

– Нет. Просто я должен это пережить. Пойдем поищем сигареты и что-нибудь для твоего носа, чтобы он не облупился.

Мы встаем. Русалка смотрит на меня, щурясь и моргая. Сколько я просидел здесь, на скамейке? Вроде бы совсем недолго. А кажется, что несколько часов. Возможно, она заколдована, эта скамейка, с виду такая безобидная. Кто-то навел на нее сложные чары, вызывающие людей на откровенность.

Бредем к Дому, толкая перед собой две круглые, безголовые лепешки теней.

– Зато теперь я знаю, за что ты так не любишь Самую Длинную, – говорит Русалка.

На крыльце душно пахнет геранью. По всей длине перил расставлены горшки с этими цветами, запаха которых я не переношу.

– Странно, – говорю я Русалке. – Ни одного лица, ни в одном окне. Что-то отвлекло людей от наблюдения за нами. Интересно, что? Кстати, твоя «ненависть до гроба» похожа цветом на эту герань.

– Придется выбросить майку, – серьезно говорит Русалка, поднимаясь впереди меня по лестнице. – Очень тебе не по-

правилась эта надпись, я чувствую.

– А замазать никак нельзя?

Лестница совсем пустынна. Ни души, ни выше, ни ниже, и непонятно, куда все подевались, но хотя бы понятно, почему никто не глазел в окна. Общий сбор где-то в глубинах Дома. Русалка прислушивается и делает соответствующие выводы.

– Поцелуй меня, пока никого не видно...

Мы устраиваемся на площадке, прижавшись к перилам, ловим свою минутку в затишье Дома, совсем недолго, или мне это только кажется, но дальше я иду с легким головокружением и не так уверенно, как привык ходить.

Коридор пуст. Если где-то все и собрались, то не на этом этаже. Ближе к середине коридора мы замечаем две одиноко бредущие фигуры и ускоряем шаг. Слепой и Крыса. Очень подходящая парочка. До дрожи в коленях. Оба бледные, как покойники, с синими кругами вокруг глаз, в одинаковой стадии истощения, за которой следует дистрофия. Слепой к тому же располосован от ключиц до пупка. Майка свисает ключьями, в зияющих прорехах видна ободранная кожа. Жуткое зрелище, особенно учитывая, что у Крысы ногти в крови.

– Вот, пожалуйста, – говорю я Русалке. – Что-то вроде твоей «Кама Сутры», с уклоном в Маркиза де Сада. Не очень-то приятно на такое смотреть.

Русалка бросает на меня укоризненный взгляд, переводимый как: «Ну, зачем ты так?» – но я уже завелся, и до самой спальни рассуждаю о сексуальных извращениях, а Бледный

и Крыса терпеливо слушают, не возражая, что бесит намного сильнее, чем, если бы кто-то из них предложил мне заткнуться.

Так, вчетвером, мы вваливаемся в спальню, где никого, кроме Шакала, самозабвенно мурлыкающего в переплетении разноцветных проводов. Провода вырастают из стены и в ней же исчезают, большая часть болтается просто так, не ведя никуда и ни с кем не связывая, но десяток основных доползают до стен девичьих спален, и даже до вполне конкретных ушей. Все это великий дар Шакала влюбленным, разлученным обстоятельствами, как выражается сам Шакал, только дар абсолютно бесполезный без участия его самого, единственного, кто разбирается в хитросплетении всех этих проволочных хвостов.

Мы застаем его в прямом контакте с кем-то «оттуда», кому он сообщает, что «ну, ты еще большая дура, чем можно было ожидать!». При виде нас он радостно кивает, прикрывая грибок микрофона, и закатывает глаза, изображая крайнюю степень утомления.

– Где все? – спрашиваю я его.

Он, естественно, ничего не слышит и только улыбочиво раскланивается.

Русалка перекапывает содержимое тумбочки в поисках средств неотложной помощи для Слепого. Крыса садится на пол и застывает, обхватив голову руками, зарыв окровавленные ногти в волосы. На ней кожаная жилетка, руки и плечи

голые, а грудь увешана бляхами, таких безобразно худых девушек, как она, слава богу, не часто встретишь. Может, действительно она не получает удовольствия от простых поцелуев, если они не сопровождаются раздиранием кого-либо на части, может, ей нужны сильные эмоции, недоступные без применения изощренных методов, черт ее знает, но при одной мысли, что Слепой потекает ей в этом, меня пробивает дрожь.

Бледный медленно освобождается от остатков майки. Русалка передает ему пузырек с чем-то целебным и сочувственно наблюдает процесс смазывания царапин.

– Иди туда сама, дорогуша, туда, и еще дальше, до самой наружности! – посылает кого-то Шакал и выдергивает из уха наушник.

– Ух, до чего же трудно поддерживать с некоторыми личностями беседу, прямо-таки тяжелый труд! А где вы все вообще-то пропадаете, если не секрет?

Табаки внимательно изучает наш внешний вид, кивает, придя к каким-то выводам, и сообщает:

– Все, между прочим, внизу, там опять выступает Акула, разве вам не интересно, о чем?

У Табаки пуговичный период, не проходящий с последнего маскарада, он весь в пуговицах, сверкает и переливается, как бред сумасшедшего. Основой для пуговичной выставки служит алый камзол с отворотами и фалдами (чтобы побольше всего уместилось), а на джинсах почти ничего нет (чтобы

не мешало ползать), и Табаки это так удручает, что, угнездившись в любом месте, он спешит прикрыть себя фалдами камзола и начинает вертеться, ловя электрический свет всеми своими бесчисленными пуговичными бляшками, пока не превращается в режущее глаз подобие елочного украшения.

– С кем это ты ругался, уж не с Кошатницей ли? – спрашивает Русалка, стаскивая с меня заскорузлую от дождя и грязи фуфайку.

– Нет, конечно. С Кошатницей все не так примитивно. И с чего ты вообще взяла, что я ругался? Я просто поддерживаю боевой дух в некоторых нуждающихся в этом личностях. Всем нужны общение и встряска, нельзя целыми днями пребывать в благодушном оцепенении и потихоньку деградировать только оттого, что некому тебя позлить.

– И кого ты злил?

– Неважно, – Табаки быстро сует наушник обратно в ухо и начинает перебирать провода: – Важна благотворительность как таковая, а не ее объект. Ты не согласна со мной? Прием, прием, – оскаливается он в микрофон. – Волкохищная Собака на проводе! Отзовись, неведомый и одинокий собеседник...

Пуговицы сверкают, оплетенные радужными проводами. Мой взгляд странствует от них к полкам отворенного шкафа, по сложенным свитерам, рубашкам и жилетам. Мой гардероб нельзя назвать бедным, но до чего же трудно найти в нем что-то оригинальное, недоступное каждому желающему

одеться точно так же. Впору увешивать себя коллекциями того и этого, как Лэри или Шакал, по крайней мере будешь уверен, что неповторим в своем безобразии.

Русалка угадывает мои мысли:

– Хочешь, сплету тебе рубашку из крашеной веревки? У меня есть громадный клубок травяного цвета. Если детки Кошатницы до него еще не добрались.

Табаки хоть и в наушнике, а что-то слышит. Живо поворачивается в нашу сторону и таращится.

– Тише... – говорю я Русалке. – Не то тебе придется плести десять рубашек и украшать их сотней пуговиц, а ты еще слишком мала, чтобы так надрываться.

Табаки подозрительно кренит в нашу сторону. С разворачиванием свободного уха. Русалка хватает первую попавшуюся рубашку и набрасывает ее мне на плечи.

– Пожалуй, надо сходить на нашу сторону поглядеть, не лежит ли там кто с сердечным приступом, – озабоченно говорит она. – А то кое у кого очень странные понятия о благотворительности.

– Иди. А я спущусь на первый, послушаю, о чем там говорят. С утра живу в отрыве от общества. Без пищи и сигарет.

Слепой, уже облачившийся в целую майку, запихивает мне в нагрудный карман пачку «Кэмела».

– О чем это вы так долго беседовали с Ральфом? – спрашивает он. – Нора полнится слухами.

– О потенциальных беглецах. Незаметно выживаемых из

Дома. У него целый список таких – желающих поскорее слиться.

– Как эти воспитатели любят бумажки, – дивится Слепец. – Может, с памятью у всех непорядок?

Он подбирает с пола свой тощий рюкзак.

– Пошли, послушаем Акулу. Они там уже полчаса, так что он, наверное, как раз подбирается к сути дела. И бумаг у него там тоже целые горы.

– Сними с меня этот головной убор, – прошу я. – Он меня начал раздражать.

Слепой сдергивает с меня головную повязку. Русалка ждет у двери, исподтишка наблюдая за нами. Крыса сидит на полу, пряча лицо в ладонях, и вроде не собирается никуда уходить.

– Привет, – таинственно шепчет Шакал, обнимая микрофон. – Это абонент четырнадцать дробь один? Сколько лет, сколько зим. Как поживаешь, дробь три? Я по тебе соскучился, а ты?

Мы со Слепым являемся в актовый зал в самый разгар событий. Распаленный жарой и гневом Акула вещает в периодически гложущий микрофон, публика частично внимает, частично дремлет, на подступах к кафедре проходы между стульями почему-то усеяны обрывками бумаги, как плохо сработанным бутафорским снегом.

Стыдливо пригибаясь, проскальзываю в центральный ряд. Слепой повторяет мои движения след в след, зашипнув

для верности подол моей рубахи. Акула замечает наше опоздание, но слишком занят, чтобы его комментировать. Он как раз переходит к «документальным подтверждениям вышесказанного», уткнувшись в ворох бумаг, подкинутый ему верным Лоцманом. Мы со Слепым устраиваемся на уродливых железноногих стульях и присоединяемся к слушателям. Их не так уж много – тех, кто на самом деле слушает. В основном передние учительские ряды.

– Согласно результатам общего тестирования...

Стая в дремотном оцепенении. Самый бодрый вид у Толстого, грызущего морковку, и у Спицы, подсчитывающей петли очередного вязания. Горбач вяло кивает песням, звучащим в его наушниках, Македонский выковыривает булавкой занозу из пальца. Я гляжу в дальние Песьи ряды, туда, где розовеет бритый затылок Черного. Четыре Пса по соседству один в один повторяют его позу – скрещенные руки, ступня на сиденьи переднего стула. В своем стремлении полностью уподобиться вожаку они переплюнули даже Логов, но если верно сказанное Русалкой, не мне над этим смеяться. Тем более, я уже собирался пихнуть ногу на переднее сиденье тем же манером, а вместо этого сижу, как истукан, и бешусь. В конце концов кто из нас кому подражает?

– Практически никто не набрал даже ста очков! А это минимальное количество очков для среднего тупицы, проходящего тест!

Акула гневно швыряет в воздух пачки осточертевших

всем бумажек «да-нет», и они разлетаются по залу, усеивая пол дополнительным слоем бутафорского снега. Вот, оказывается, откуда он берется.

– Могу объяснить, что это означает! Это означает, что большинство из вас неспособны к умственному труду в рамках соответствующих требований, предъявляемых к вашим сверстникам, окончившим обычные школы!

Учительский ряд, второй от сцены, дружно оборачивается, чтобы с укором посмотреть нам в глаза. В воспитательском ряду никто и ухом не ведет. Удивить их чем-либо мы давно не в состоянии. Микрофон в очередной раз глохнет. Акула продолжает говорить, не замечая этого, потом спохватывается и орет так, что получается громче, чем с микрофоном:

– То есть вы – идиоты! Кого вы, спрашивается, срезали под корень этими вашими фокусами, может, вы думаете, что меня? Может, вы думаете, я буду рыдать и кому-то доказывать, что вы умнее, чем прикидываетесь? Может, вы думаете, мне не все равно, куда вы отсюда отправитесь и чем будете заниматься? Вы испортили биографии только самим себе, олухи!

Я обнаруживаю, что таки просунул ступню на переднее сиденье, и оставляю ее там, где она есть. Нельзя в конце концов жертвовать элементарными удобствами только потому, что не желаешь быть объектом подражания.

Слепой зевает и прячет зевок в ладонь. В его лемуриях

пальцах запросто исчезает все лицо со лбом и подбородком. Такой вот простой жест, который не дано скопировать никому из присутствующих. Я сижу, съедаемый завистью, как последний болван. Пора уже стряхивать с себя эти параноидальные настроения. И вдруг ловлю себя на мысли – чему я, собственно, позавидовал? Не рукам Слепого, не его живым пальцам, а всего лишь жесту, который нельзя скопировать. Интересно, я на самом деле такой дурак, каким иногда кажусь себе?

Последнее «быть может, вы полагаете...» Акулы, микрофон неожиданно подхватывает, стократно усилив, и с грохотом раскатывает по залу. Вскрикнув, просыпаются самые крепко спящие. Толстый роняет морковь. Горбач морщится, глубже заталкивая наушники. Даже самого Акулу передергивает на кафедре.

– По этой причине, – говорит он уже спокойнее, – отменяются все намеченные на этот месяц экзамены, а также общая аттестация, о которой я предупреждал вас в прошлом полугодии. И то и другое потеряло всякий смысл. С вашими результатами тестов вас не допустят к экзаменам ни в одно учебное заведение, а вы и раньше могли об этом только мечтать.

Лорд поворачивает ко мне зашторенное серебряными очками лицо и растягивает губы в улыбке. Я улыбаюсь в ответ и вдруг с ужасом замечаю, что он тоже окружен неумелыми копиями. Трясу головой, но мираж не исчезает. Пара Ло-

гов по обе стороны от Лорда, хранители Лордовских костылей – по одному на брата, у обоих зеркальные очки и мефистофельские бородки а-ля Лорд. Не отвлекаясь на сплетни, жевание и речи Акулы, Прыщ и Москит полируют костыли носовыми платками и соскребают грязь с резиновых наколенников. Забавное и нелепое зрелище, вызывающее у меня улыбку. Лорд вопросительно поднимает брови, я киваю на его свиту. Он пожимает плечами – дескать, что поделаешь. Попугайский хохолок Рыжей полыхает у его локтя, ниже – бледный профиль, утонувший подбородком в ладони, а дальше в ряд – торчащие зубы и преданные глаза гордых своей службой костыльничьих, и я удивленно думаю: как же Лорд повзрослел после путешествия в Наружность, если за полгода научился философски относиться к вещам, до сих пор выводящим меня из равновесия.

– Сейчас я зачитаю фамилии тех немногих, кто прошел тестирование с высоким результатом...

Выжидающе щелкающим пальцам Акулы Рыбой Лоцманом передается очередная папка. Схватив ее, он угрожающе отхаркивается:

– Итак... в первой группе...

Учительский ряд гудит, перешептываясь. Горбач достает из кармана пепельницу, щелчком открывает ее и ставит на пол. Нигде не видно курящих, но над головами висит предательское серое облако. Акула зачитывает первые фамилии. Фазаны в передних рядах переглядываются и пихают друг

друга локтями. Я шепотом повторяю фамилии, припоминая, что вроде бы уже имел с ними сегодня дело.

– Странно, – говорю я. – Был уверен, что среди Фазанов их будет больше. Хотя это их проблемы, разумеется...

– Разумеется, – подтверждает Слепой мне в ухо и тихо смеется своим выводящим из равновесия смехом сумасшедшего. Кадык пляшет на голой шее, в каждом зеркально отсвечивающем глазу по Сфинксу, как в очках-лужицах Лорда.

– Они были в списке Ральфа, – зачем-то объясняю я, – в списке персон, желающих побыстрее слинять.

– Вот сейчас и посмотрим, – чему-то радуется Слепец, – как у них это получится. И у кого еще, кроме них.

– Ты знал про них? – подозрительно уточняю я.

– Спятил? – изумляется Слепой. – Ты же сам только что все рассказал.

Действительно, я рассказал. Но он не очень-то удивился. Или умело скрыл удивление. Во всяком случае, не переспрашивал и не уточнял.

Акула между тем зачитывает умников второй, что не отнимает у него много времени, потому что вторая может похвастаться одним-единственным изгнанником – несчастным Фитилем.

– Так его! Ну да... самое верное дело, – гудят через ряд от нас Крысы, после того как «переводчик», насильно лишенный наушников, знаками привлекает их внимание и объясняет, в чем дело. – А как же иначе? Ты давай, слушай, по-

том расскажешь, — поощряют переводчика, и вся стая дружно втыкает обратно наушники. Вернее, не вся стая, а десять отловленных представителей, что для Крыс уже много, когда речь идет о такой скучной повинности, как отсидка на общественном собрании.

Рыжий с хрустом разгрызает орех и выплевывает скорлупу. Переводчик Крошка со вздохом обращает лицо к кафедре, а Фитиль, которого происходящее касается непосредственно, вообще ни на что не реагирует, сидит, как сидел, безразличный и погруженный в себя, козырек бейсболки опущен по самые ноздри.

Пропустив третью, где тесты провалили все без исключения, Акула переходит к нам:

— Четвертая... кха-кха. Могу вас поздравить! Циммерман!

В воздух взлетает приговор Курильщика, кружит между рядами, как маленький исчерканный воздушный змей, а в воспитательском ряду клювастая голова Р Первого поворачивается и глядит на меня.

— Тем или иным способом, — шепчу я. — Так или иначе, мы избавляемся от них.

— Ты говорил с Ральфом о Курильщике? — удивляется Слепой. — Зачем тебе это понадобилось?

За десять рядов от нас Ральф кривит рот, будто расслышав реплику Слепого, и отворачивается, немного похожий на Курильщика, словно они обменялись на время глазами,

специально чтобы удивить меня. Акула разделался со списком шестой в три человека и переходит к девушкам.

– С чего ты решил, что я говорил о нем с Ральфом? – спрашиваю я Слепого.

– О, я логик. Светлый ум, – без ложной скромности признается Слепец. – Предположил.

– Что-то твой светлый ум в последнее время все чаще сбывает.

Мой самый свежий и последовательный кошмар – Слепой, навечно сбежавший в призрачные леса и топи Обратной Стороны Дома, растение рядом, личность не пойми где. Оставивший меня наедине со всеми этими лицами и кличками, с их страхом и надеждами, жутчайший исход, какой я могу себе представить, и единственный, который, как мне кажется, устроил бы самого Слепого. Мой страх доступен слуху даже менее острому, чем его слух, но он только смеется, превращая в шутку то, что совсем не смешно.

– Перерабатывает, – говорит он, подразумевая свой светлый ум. – Все на свете нуждается в отдыхе.

– Только не за мой счет, – прошу я его. – Пожалуйста.

Слепой сразу делается серьезен.

– Нет, конечно, – говорит он. – За кого ты меня принимаешь? Я никогда не брошу ни тебя, ни остальных.

Закрываю глаза, пытаюсь справиться с головокружением, от которого все предметы вокруг вдруг вытягиваются и плывут, сливаясь в разноцветные полосы. Он нас не бросит! Эта

проклятая убежденность в его голосе мне хорошо знакома. Слишком хорошо. А даст ли он нам бросить его? Вряд ли... только не тех, кто уже отмечен Домом.

– Эй, ты чего? – Слепой хватает меня за ворот и легонько встряхивает. – Да что с тобой творится?

– Иди к черту! – шепчу я.

– Завтра! – гремит Акула, сотрясая кафедру, как взбесившийся Кинг-Конг. – Завтра мы простимся с нашими уважаемыми преподавателями и отправим их на заслуженный отдых! Поскольку экзамены отменяются, это произойдет раньше, чем планировалось!

Все сидевшие в учительском ряду встают и поворачиваются к нам. Зал разражается аплодисментами. Они старательно делают вид, что растроганы, хотя на лицах даже издали различимо ликование, а воспитательский ряд, напротив, мрачнеет, вычислив, что в скором времени останется с нами с глазу на глаз. Зал аплодирует, учителя кланяются, Акула млеет от умиления. Все это время Слепой крепко держит меня за шею, словно опасаясь, что стоит ему меня отпустить, как я тут же грохнусь в обморок, и, в общем-то, он недалек от истины, а еще ближе окажется, если вздумает меня успокаивать, как только что попытался.

– Сейчас будет предоставлено слово тем из наших преподавателей, кто пожелает выступить, – сообщает Акула, промокнув пот за ушами салфеткой. – А в заключение добавлю, что и в эту субботу, и в следующую родители всех прошед-

ших тестирование будут приглашены сюда. Те из них, кто сочтет нужным забрать своих детей для предоставления им возможности поступления в различные учебные заведения, уедут с детьми.

Зал вяло аплодирует, радуясь окончанию Акульей речи, кто-то из самых активных Псов даже кричит: «Браво!» – и свистит, распоясавшись, но его быстро унимают, так что Акула отбывает со сцены под отдельные жидкие хлопки, и его место занимает старичок биолог, вооруженный здоровенным свитком с прощальной речью.

– Нервы у тебя, – говорит Слепой, – совсем расшатались...

– Не без твоей помощи, – огрызаюсь я. – И оставь в покое мой заговор, я никуда не собираюсь падать.

Он послушно убирает руку.

– А мне показалось, что собираешься. Извини...

Улыбке его не хватает переднего клыка и доброты, но он, во всяком случае, очень старается ее на меня излить. Я смотрю на него внимательнее и замечаю кое-что новое. Раньше Слепец таскал на себе черный длиннополый пиджак, похожий на сюртук начала века, на голое тело. Сегодня он надел под него майку, и что-то похожее на кольцо болтается на шее, зацепившись шнурком за пуговицу.

– Что это? – спрашиваю я. – У тебя на шее.

– Это? – он протягивает мне железное кольцо. – Забыл тебе сказать, я обручился.

– О господи, – говорю я. – С кем?

– С Крысой. Вчера вечером.

– Поздравляю, – вздыхаю я. – Не имеет смысла обсуждать это задним числом, но ты не мог найти себе кого-нибудь более уравновешенного?

– Ха, – говорит Слепой. – Стану я с вами советоваться. После того как вы меня разлучили с моей первой любовью. Совершенно по-свински.

– Ты эту дылду Габи имеешь в виду? Побойся бога, Слепой, ты же ей по плечо.

– Зато с Крысой мы одного роста, – он прячет кольцо под майку, но тут же, поморщившись, извлекает обратно. Должно быть, оно оцарапало ему раны.

– Это она в честь помолвки тебя разукрасила? – не выдерживаю я.

Лицо Слепого каменеет.

– Хватит, – говорит он. – Данная тема не обсуждается.

– Есть! – взлаиваю я и перевожу все внимание на кафедру, где биолога успел сменить мрачный Бурундук с еще одной прощальной речью, расслышать которую невозможно в связи с отсутствием на местах Акулы и Ральфа, которые удалились покурить. Атмосфера в зале безобразная. Многие открыто дымят, гул голосов усилился, отдельные личности перебегают из ряда в ряд, чтобы пообщаться с соседями, у Крыс громко играет музыка.

– Отвсегосердцанадеемся... сумеетпроложить... светлое

будущее... несмотря на... и достоинство школы... высоко... – Бурундук без особого энтузиазма бубнит под нос, иногда прерываясь, чтобы с надеждой обнюхать пустой графин.

Я протискиваю на передний стул вторую ногу, почти ложусь, хотя здешние стулья как будто специально задуманы так, чтобы сидящему невозможно было принять удобную позу. Горбач отключает плеер и со вздохом прячет его в рюкзак.

– Что творится? – спрашивает он.

– Наши дорогие преподаватели прощаются с нами. Завтра или послезавтра они отчаливают.

– Ну да? – Горбач удивленно рассматривает Бурундука. – Серьезно? Мы их больше не увидим?

– Думаю, нет. Так что если хочешь обнять кого-нибудь на прощание и разрыдаться, поспеши. Кстати, наш вожак обручился. Можешь обнять и его.

Слепой корчит мне зверскую гримасу. Горбач откашливается. Дальнейший обмен информацией невозможен, потому что из переднего ряда к нам проникает Рыжий с сигаретой в зубах и подсаживается к Слепому. Весь наш ряд уже забит посетителями, жмущимися на краешках стульев, толкаясь и тесня друг друга...

– Отсядем? – предлагает Горбач. – А то здесь становится тесновато.

Я киваю. Он сгребает свое добро, закидывает на плечо,

и мы перебираемся на три ряда назад, подальше от стремительно обрастающей гостями стаи.

– А с кем обручился Слепой? – спрашивает Горбач.

– С Крысой, с кем еще.

– Мог и с кем-то еще, – не соглашается Горбач. – Он такой. Непредсказуемый.

Очень верное замечание. Только редко высказывающиеся люди умеют произносить такие убийственные в своей простоте фразы. Но меня это почему-то не утешает.

– Крыса лучше, чем Габи, – уверяет Горбач.

– Еще неизвестно, – отвечаю я, вспоминая порезы на груди Слепого. Настроение окончательно падает. Горбач закуривает и вытягивается на стуле. Где-то среди Птиц громко, на весь зал включается транзистор, но звук тут же приглушают.

– Счастливого вам пути, дорогие дети, в большую и счастливую жизнь! Да. Всего наилучшего вам!

Бурундук спускается со сцены, и его место занимает Мастоdont, чье появление на кафедре зал встречает нехорошим оживлением. Акула и Ральф между тем возвращаются. Последние перебежчики спешат воспользоваться паузой, пока они пересекают проход, поэтому в зале топот, возня и скрип стульев. Я смотрю на Мастоdонта и упускаю момент, когда рядом с нами кто-то садится. Оборачиваюсь на приветствие Горбача и вижу, что это Черный.

Без свиты он выглядит не так внушительно, как на рассто-

нении, окруженный Псами. Можно сказать, у него вполне домашний, привычный вид, но я все равно напрягаюсь. Вежливое приветствие, само собой, как водится, а после смотрю на Мастодонта, чтобы не начать рассматривать Черного с неприличным интересом.

– Ну, что я могу сказать...

Мастодонт – клетчатый прямоугольник с боксерски сплюснутым носом и такими же губами, оглядывает зал поверх бумажки с речью и откашливается.

– Автомат бы вам в руки, – подсказывают из зала. – И лечь первым двум рядам!

Подсказывают довольно громко.

Мастодонт багровеет и вертит шеей, высматривая крикуна.

– Ну, вы... – хрипит он. – Тихо там, внизу!

Зал притихает. Не стоит думать, что надолго.

– Я, как и все выступавшие здесь до меня учителя, немало крови и пота...

Черный рассказывает Горбачу, как его навестила утром Нанетта:

– Смотрю, лезет в форточку. Сама прилетела, я ее не звал. Даже не сразу сообразил, как это странно. Знаешь же, никогда она ко мне не лезла, даже птенцом, а тут вдруг прилетела...

Черный глядит на Мастодонта, и Горбач тоже. Еле шевелят губами, но мне все слышно. При этом отчего-то

ощущение неловкости, как у подслушивающего. Абсолютно неоправданное. Я ведь не виноват, что сижу так близко. Если бы Черный не хотел, чтобы я его слышал, он отловил бы Горбача где-нибудь в другом месте.

– Старался сделать вас чуток поздоровее! – врывается в мои мысли голос Мастодонта. – Не скажу, что достиг в этом больших успехов...

– С автоматом-то оно было бы вернее, – опять подсказывают ему из зала.

Мастодонт выдерживает тяжелую паузу. В зале смех и похрюкивания.

– Но, как я вам уже не раз повторял...

– Хороший калека – мертвый калека! – восторженно подхватывает целый хор.

Еще бы. Высказывания Мастодонта давно стали классикой. Цитировать их по памяти может даже Слон.

– Ах вы, чертовы ублюдки! – ревет Мастодонт, с хрустом опуская оба кулака на кафедру. – Порча генофонда! Отбросы! – в воздух взлетает облачко пыли. Зал воет и раздражается бешеными аплодисментами. – Да я бы гранатой в вас, а не то что...

Мастодонта стаскивают со сцены. Всем воспитательским рядом. Акула на заднем плане сокрушенно всплескивает плавниками.

Черный поворачивается ко мне:

– Что теперь будет с Курильщиком? – спрашивает он.

– То же, что и со всеми остальными, я думаю. Заберут родители.

Он кивает, задумчиво потирая подбородок.

– У меня у самого двое таких. А я все равно почему-то больше думаю о нем. Странно. Вроде для них так лучше, но чувствуешь себя предателем. Не пойму, отчего это так.

– Оттого, что это так и есть. Мы их предали.

Черный глядит исподлобья. Крохотные черепки выплясывают на повязке, окольцовывающей его голову, черно-белый танец.

– Чем?

– Тем, что не сумели изменить.

Черный достает из заплечного мешка сигареты и прячет одну в нагрудный карман.

– Жаль его. Ведь он славный парень. Просто вы его доставали своими повадками, вот он и озверел. Я-то знаю, как это бывает.

– Ну тебе ли не знать, – любезно вставляю я.

Горбач наступает мне на ногу, безразлично обзревая потолок. Но Черный, как ни странно, не обижается. Вожачество определенно изменило его характер к лучшему.

– Злыдень ты, Сфинкс, – только и говорит он.

И все. Я жду, но продолжения не следует.

Акула тем временем объявляет «одного из наших учащихся, который выразил желание выступить», и на сцену вкапывают гордого Фазана, неотличимого в своей черно-белой

униформе от прочих представителей их племени.

– В каждой стае, – говорит Черный, – своя белая ворона. Даже у Фазанов. Нам этого не заметить, если только они не вышибут ее на нашу территорию, как вышибли Курильщика. У Псов та же песня. Грызутся друг с дружкой, пока не сконцентрируют все внимание на ком-то одном. Тогда этому кому-то становится худо.

Я открываю рот, но, перехватив красноречивый взгляд Горбача, тут же захопываю. Черный, однако, успевает прочесть у меня на лице много чего.

– Ты опять обо мне собирался высказаться? И сказал бы. Только это не совсем то. Я сам хотел быть белой вороной. Я вас провоцировал. Может, я ею и был, но не в той степени, как мне бы того хотелось.

– Тебя сейчас что волнует, степень твоей белизны или чьей-то еще? – интересуюсь я. – Что мы, собственно говоря, обсуждаем?

– Меня волнует все, – Черный достает переправленную в карман сигарету и мнет ее в пальцах. – В шестой свои порядки, – говорит он. – В шестой я понял, как по-настоящему травят «других», непохожих. И понял, что все, что было в четвертой, – детские игры на самом-то деле. Когда увидишь настоящую травлю, ее уже не спутаешь ни с чем. Слишком это жутко.

– Здорово, – говорю я, – что ты наконец что-то такое увидел. Я лично это пережил на десятом году жизни. С твоей

помощью и при твоём горячем участии.

– Эй! – Горбач умоляюще вскидывает ладони: – Сфинкс, не надо...

– Нет, погоди, – я уже разозлился, и мне трудно остановиться, – он говорит, что не видел ничего такого до того, как попал в шестую. Мне интересно, что же он видел, когда они гоняли меня по Дому всем скопом, как чумную крысу!

Черный мнет в пальцах сигарету, которую так и не зажег, и не глядит на меня. Я постепенно остываю и уже начинаю жалеть, что сорвался. Можно сказать, впервые в жизни мы с ним общались по-человечески. Пытались общаться.

Черный отбрасывает выпотрошенную сигарету.

– Я скажу, что я видел тогда, если хочешь. Тебе это не понравится, предупреждаю. Но лучше так. Мне хотелось бы, чтобы ты понял. Дело было не в тебе. Абсолютно. Дело было в Лосе, – Черный снимает с головы повязку, комкает ее и прячет в карман. – Я попал в шестую, – говорит он, – пожил там и понял наконец, что со мной творилось в четвертой. Даже удивился – как можно было не видеть этого, не понимать. Но если бы я не отошел, не посмотрел издали... Словом... попробуй сделать то же самое. Представь всех нас, Дом, Лося. Представь, что ты мальчишка, сопляк, а вокруг куча взрослых, которым вечно не до тебя, всем, кроме одного, а этого одного на всех не разделишь. И каждый из кожи вон лезет, чтобы перед ним выделиться, показать себя, чтобы он сказал что-то именно тебе, именно тебя о чем-то

попросил. И все внутри, не показываешь, потому что стыдно обожать кого-то, когда ты парень, тебе уже десять лет и так далее. Только Слепой плевал на всех и бегал за ним, как собачонка, но он был один такой, и Лось с ним никогда не носился больше, чем с другими. У него вообще не было любимчиков среди нас. Пока не появился ты. Да, не хихикай, это сейчас звучит смешно, а поставь себя на наше место!

– Извини, Черный, – я с трудом сдерживаю смех, – пойми меня правильно, я так давно не слышал вот этого: «Любимчик Лося». Как вспомню, сколько крови мне испортила эта характеристика. Честное слово, никогда не думал, что я его любимчик. И что это так бросалось в глаза.

– Ты, может, и не думал.

Черный очень красен, что выглядит угрожающе, хотя и привычнее, чем его новообретенное жожацкое хладнокровие. Я весь в ожидании взрыва, поэтому мне трудно вслушиваться в то, что он говорит.

– ... как только сошли с автобуса. Он поджидал нас во дворе, в сторонке. Собрал вокруг себя, рассказал о тебе, велел тебя не трогать и помогать во всем.

– Что-о-о?! – меня подбрасывает на сиденье, как будто через него пропустили заряд электричества. – Неправда! – кричу я, глядя на них сверху вниз. – Не было этого! Не могло быть!

Горбач дергает меня за рукав.

– Эй, ты чего? Акула смотрит. Садись!

Я приседаю рядом с его стулом, и он шепчет мне в ухо, скашивая глаз в сторону сцены:

– Все так и было, как сказал Черный. Правда. Я тоже там стоял, когда он это сказал.

– Ты никогда не говорил мне об этом!

– В задних рядах! – гремит над нами Акулий глас. – Прекратить копошение!

Я опускаюсь на стул, стараясь выглядеть спокойным. Горбач тянет шею, весь воплощенное внимание к происходящему за десять рядов.

– А зачем? – шепчет он, не разжимая губ. – Какое это имеет значение?

– Ты был первым новичком, которому нам было велено помогать, – не успокаивается Черный. – Мы и так помогали друг другу, чем могли, кто больше, кто меньше. Но до тебя нам почему-то никогда не говорилось, что мы «должны» это делать.

– Черт, – говорю я, – он что, идиотом был?

При слове «идиот» Черного с Горбачом перекашивает. Горбач говорит: «Полегче, Сфинкс!» – а Черный молчит, но так выразительно, что я понимаю – мало того, что я любимчик, я – любимчик, не ценящий своего счастья и попирающий святое. Мне нужно время, чтобы справиться с комплексом Иосифа, стоящего поперек горла своим братьям, который эти двое умудрились мне навязать, и для того, чтобы осознать, что мерзкий белобрысый подросток, который пом-

нится мне высоким, как башня, мускулистым и абсолютно не нуждающимся ни в чьей любви существом, был способен на муки ревности. Он и другие. Он и независимый одиночка Горбач. Он и, наверное, Пышка-Соломон, которого уже нет в Доме. Все они.

Мне нужно время, чтобы посмотреть на них издалека, понять, пожалеть и простить. Поэтому я растягиваю для себя это время, торможу его, стирая мысленно их портреты в альбоме детских воспоминаний, давая им возможность проявиться заново. Я понимаю, что здесь и сейчас времени на это не хватит, что это слишком долгая работа, которую не проделать за несколько минут. Еще я понимаю, что только что обидел и Горбача, и Черного, и что мне повезло, что рядом сидели они, а не Слепой.

– Хорошую услугу оказал Лось своему любимчику, – пробую улыбнуться я. – Врагу не пожелаешь.

– Да брось ты, – морщится Горбач. – Оставь его в покое. Все это было давно, и давно закончилось. Смешно говорить об этом сейчас.

– Если бы закончилось, мы бы не говорили, – угрюмо возражает Черный. – Ты посмотри на Сфинкса – где там чего закончилось? По нему, так все еще только начинается. Бесится, как будто его только вчера отлупили. Любой из нас удавился бы за то, чтобы побыть на его месте. А он бесится!

Я как раз дохожу в перетряхивании наших детских портретов до Слепого и застываю в недоумении. Что такое рев-

ность Слепого, мне приблизительно известно. Почему же я не видел ее проявлений тогда? Почему Черный, и даже Горбач, но не он?

– А Слепой присутствовал при том разговоре?

– Ох, господи! – Черный откидывается на спинку стула и скалит зубы. – Слепой! Насчет него можешь не беспокоиться. Богов не ревнуют. Это совершенно отдельная патология.

– Как-как ты сказал?

– Мы сейчас к чертям перессоримся, – тоскливо говорит Горбач. – Ладно вы, вам не привыкать, но я-то при чем? Давайте, я лучше отсыду.

Встряхиваю головой.

– Ты прав. Пора заканчивать с этим. Я отошел на свои несколько шагов и посмотрел оттуда. Спасибо, Черный. Это действительно полезно, хотя и несколько болезненно.

Дальше мы молчим.

Черный – мрачнее грозового облака, скрестив на груди лапищи, Горбач – взъерошенный и несчастный, как ворон, застигнутый врасплох птицеловом. Про себя мне думать не хочется, ни как я выгляжу ни на что похож.

Воспитательница Крестная зачитывает какое-то расписание. Мне требуется несколько минут, чтобы разобраться, о чем идет речь, и все это время я борюсь с настигающим меня образом Лося. Раз в полугодие на общих собраниях он стоял там же, где сейчас стоит Крестная, и, улыбаясь одними глазами, делал короткие объявления, примерно такие же, как те,

какие сейчас делает она. О чьих-то успехах и отставаниях, об улучшениях состояния здоровья, об очередности проведения медосмотров. Только в отличие от Крестной его всегда слушали, что бы он ни говорил. Всем залом. Почти не дыша. Потому что он был Ловцом Детских Душ по призванию. Можно было вырасти и освободиться, но даже давно ушедшие в Наружность унесли на себе следы его прикосновений и взглядов, и, как я подозреваю, носят их до сих пор. Имел ли такой человек право на ошибку? Меньше всего он, за которым следило столько тоскливых и жадных глаз. Он не имел права на ошибки, на любимчиков и на смерть.

Крестная зачитывает список тех, кому назначены витаминные инъекции. Длиннейший список тех, чья нужда выходит за рамки приличий. На этом собрание заканчивается. Мимо нас, гроыхая стульями, проходят и проезжают выходящие, на сцене драпируют кафедру и зачем-то расчехленный экран, зал пустеет, и мы остаемся одни.

Я, Горбач и Черный. Все, что можно было друг другу высказать, мы вроде бы уже высказали, и непонятно, чего мы ждем и почему никто из нас не ушел с остальными. Вернее, понятно, почему не ушел Горбач, он выполняет роль громотвода, а вот почему мы с Черным продолжаем сидеть, где сидели, как приклеенные? Горбач выжидает, мается и даже делает вид, что задремал. Мы с Черным молчим. Молчим и молчим, и наконец терпение Горбача истощается.

– Двинем, что ли? – жалобно спрашивает он. – Все уже

ушли.

Дружно встаем. Огибая сдвинутые стулья, плевки и окурки, выбираемся в коридор. Шагов на пять по стене тянутся синие буквы: «Прощайте, дорогие учителя!» С восклицательного знака свисает что-то вроде мутной слезы.

– Тебе неприятно то, что я рассказал про Лося? – спрашивает Черный, шагая рядом.

– Не очень. Это многое объяснило. Я мог догадаться и раньше, если бы как следует поразмыслил. Когда ты мал, взрослые кажутся безупречными, довольно обидно со временем узнавать, что это не так.

– Такое иногда узнаешь не только о взрослых, – бормочет Черный под нос, непонятно кого или что имея в виду. – А моих культуристов вы, небось, посдирали? – вдруг спрашивает он, резко меняя тему, и я сразу вспоминаю, как меня доставала эта его манера внезапно перескакивать с одного на другое, как будто его вдруг выключили и снова включили, настроив на другую волну.

– Что ты, – говорит Горбач удивленно. – Висят себе, где висели. С чего бы нам их сдирать?

– Со злости, со злости, Горбач, – с удовольствием встречаю я. – И не только сдирать, но и топтать, и раздирать на мелкие кусочки. Как можно не понимать таких простых вещей.

– Сфинкс, иногда ужасно хочется тебе врезать, – признается Черный. – Просто до дрожи в руках.

Мы обходим стул, который кто-то спер из актового зала, но не дотащил до лестницы. Черный останавливается.

– Хочу вам кое-что сказать. С условием не смеяться. Это насчет выхода...

Горбач сразу сникает и съезживается, с силой вцепившись в рюкзак, как будто боится, что его вот-вот погонят в Наружность.

Черный кусает губы, собираясь с духом. Оглядывает стены, потолок, пол и наконец смотрит на меня.

– Ладно, – говорит он. – Можете, в общем-то, и смеяться. Я знаю, где можно раздобыть автофургон. Подержанный, но в приличном состоянии. И еще я умею водить. Научился. Была у меня такая возможность.

Глядим на него, разинув рты.

– Я знаю, что все это фигня, – говорит он быстро. – Знаю не хуже вашего. Не маленький. Мне самому это смешно, то, что я сейчас сказал, но я должен был это сказать, хоть вы надорвите животы после моего ухода. Я просто прошу вас, имейте это в виду, хорошо? И все.

Он поворачивается и быстро уходит, спеша удалиться от нас, как будто волны нашего воображаемого смеха подстегают его, ударяя в спину.

– Мы не смеемся, Черный! – кричу я ему вслед. Он, не оборачиваясь, машет нам рукой и исчезает на лестнице. Паническое бегство, только так это можно назвать. Мы с Горбачом растерянно переглядываемся.

– Дела... – говорит Горбач. – Один был человек в Доме, мечтавший о Наружности, и того не стало.

– Прощайте, бультерьеры в клетчатых жилетках, – вздыхаю я. – В фургончике и без них будет тесновато.

– Перестань, – просит Горбач. – Это не смешно. Он ведь и смотался побыстрее, чтобы не слышать всяких таких шуточек.

– А я бы при нем и не шутил. Я не смеюсь, Горбач. Как я могу смеяться над такими вещами? Это ведь тот же воздушный змей Табаки, через который якобы ушли старшие, только Черный своим змеем научился управлять.

Горбач мотает головой:

– Не смейся при мне тоже, хорошо? Не шути и вообще не говори ничего, – он пинком отбрасывает с дороги брошенный стул, который вполне можно было обойти, и уходит вперед, затолкав руки в карманы так глубоко, что мне кажется, я слышу треск рвущейся материи. Жутко расстроенный словами Черного, а может, моей реакцией на них.

Я иду следом, с тоской представляя сказку, в которую Черный пытается поверить. Волшебное путешествие в фургоне. Дети Дома мчатся навстречу утренней заре. В краденой машине, с Черным в роли рулевого, летят по трассе, распевая бодрые дорожные песни. В реальном мире такая поездка продлится не дольше часа. А жаль. Потому что эта сказка даже красивее той, в которой старшие уходили в неведомый, заоблачный мир при помощи воздушного змея. Красивее и

трогательнее именно тем, что выдумал ее реалист Черный.

Вернувшись в спальню, мы застаем там только Рыжую с Курильщиком, сидящих на разных концах кровати и действующих друг другу на нервы. Напряжение настолько ощутимо, что Горбач немедленно скрывается на своей полке, с глаз долой, а я сажусь между этими двумя, стараясь, по возможности, заслонить их друг от друга. Что ж, все правильно, теперь моя очередь работать громоотводом, жаль, я не Табаки, у него такие вещи получаются намного лучше.

Рыжая курит, рассматривая кончик сигареты. Курильщик тарашится то на ее грязные кеды, то на пепел, который она стряхивает куда попало, – Фазан Фазаном, разве что не заносит замечания в дневник. Раздражение Рыжей почти незаметно, раздражение Курильщика искрит на всю комнату. Я мешаю ему целенаправленно беситься, и он пересаживается так, чтобы лучше видеть ее – грязную-невоспитанную-некрасивую, и еще что-то личное, чего я пока не могу уловить, может, она ему нахамила или налила в любимые кроссовки компоту, пока нас не было? Он краснеет, глядя на нее, и отводит взгляд, но тут же опять смотрит, словно пересиливая себя, и мне все интереснее, что же она такого натворила. С ролью громоотвода справляюсь из рук вон плохо, поэтому радуется появление Шакала, жизнерадостно и фальшиво что-то насвистывающего.

– Ну вот, – сообщает он, вскарабкавшись к нам, – Габи вопит на всех углах, что забеременела, можете себе такое во-

образить?

– Естественно, от Слепого, – Рыжая не кажется особо заинтересованной.

– А вот и нет! Этого она не говорила. Никаких «Да здравствует юный дофин!» – ничего подобного. Якобы от Рыжего или от Викинга, в общем, что-то неопределенное, с уклоном в Крысиную тему.

– Врет, – угрюмо констатирует Рыжая и, отбросив сигарету, идет к ящику Толстого. Выуживает его оттуда, сонного, сажает за спину и, согнувшись под его тяжестью, выходит. Толстый спросонья курлычет что-то невразумительное, но в целом выглядит довольным.

– Эй, куда неразумного? – изумляется Шакал.

– Гулять, – отвечает Рыжая уже из-за двери, потом хлопает коридорная дверь, и становится тихо.

– Ну вот, – вздыхает Шакал. – Так хорошо сидели...

Сидели мы совсем не хорошо, но запасы оптимизма Табаки неистощимы, и никто не намерен с ним спорить.

– Несуразное существо, – говорит Курильщик. Может, чтобы ему возразили. Или просто чтобы что-то сказать.

– Кто? Рыжая? – удивляется Табаки. – Почему?

– Так. Чего-то в ней не хватает. И даже очень многого.

Табаки крутит плашку радионастройки на магнитофоне.

– Знал бы ты, как многого не хватает тебе самому, был бы молчаливее, но раз уж ты не молчун, давай договаривай.

Курильщик не упускает возможность высказаться.

– Она резкая, – говорит он. – Грубая. Неженственная. То, как она себя ведет, хорошо для двенадцатилетней, а ей давно уже не двенадцать.

– Ого! – Горбач свешивается со своей кровати, прислушиваясь, и, по-видимому, ободренный его вниманием, Курильщик добавляет:

– И еще она неряха. Совсем безнадежная.

– Ай, ай, ай, – Табаки раскачивается, выпятив губы, как нервничающий шимпанзе. – Ты сам-то слышишь, что ты несешь, Курильщик?

– Она ночует в комнате с шестью парнями и разгуливает по ванной комнате голышом, не запирая дверь, и вроде бы она спит с Лордом, но не удивлюсь, если и со Слепым, а может, и еще с кем-нибудь...

Горбач швыряет в Курильщика подушкой, а Табаки тут же на нее запрыгивает и приминает, яростно урча, словно хочет раздавить Курильщика в лепешку. Утрамбовав его как следует, он приподнимает подушку и, убедившись, что Курильщик дышит, быстро накрывает его опять. Пока они затыкают Курильщика таким диковинным способом, я ловлю образ Рыжей, так потрясший и разозливший его. Выскерком – тощая, мальчишеская фигурка. Обтянутые розовой кожей ребра под темными сосками, красный кустик лобковых волос, ноги, руки и почти ничего между ними. Она смотрит на меня, вернее на Курильщика, вывернув руку, где ниже локтя алеет какая-то болячка, смотрит отрешенно, без ма-

лейшего интереса, и облизывает ее. Потом медленно опускает руку и, не пытаясь прикрыться, исчезает в душевой кабинке. Ее переход туда отпечатывается на сетчатке Курильщика покадрово, сотней узких, наползающих друг на друга снимков. Вот что заставило его так мучительно краснеть. Я понимаю, обижен он не тем, что увидел, а реакцией, точнее отсутствием реакции на свое появление. Это действительно неприятно, когда на тебя смотрят, как на пустое место, не видя. Такое выведет из равновесия и более спокойного человека.

– Она – как животное, – говорит Курильщик, сняв с себя подушку. – Как бесстыжая обезьяна.

– Кошмар, – возмущается Табаки. – Мы напрасно старались, Горбач. Он неисправим. Его можно только убить.

– Его забирают в субботу, – напоминает Горбач сверху. – Не забывай.

– Только этой мыслью и живу. Этой – и еще несколькими. Столь же отрадными, – Табаки смотрит вверх и жалобно спрашивает:

– Какое его собачье дело, с кем она спит, скажи на милость, если даже Лорд этим не интересуется?

– А вот такой он склочный тип, – отвечает Горбач и убирает голову.

Курильщик лежит, обняв подушку Горбача. Узкие кадры с голой удаляющейся девушкой стремительно падают перед ним, один на другой. Последний – захлопнувшаяся дверь ду-

шевой кабинки.

Я ухажу во двор искать Рыжую.

В месте, где сходятся стены двух корпусов, есть закуток, поросший сорняками. В начале лета крапивы здесь по колено, и мусор становится невидим. Самое якобы уединенное место в Доме, потому что на обеих стенах нет окон.

Они там. Сидят перед костерком, который Рыжая разожгла на старом месте – черном, обугленном участке, обложенном камнями. Старшие всегда разводили здесь костры. Раньше это место было чище – здесь валялись лежаки и ящики, использовавшиеся вместо стульев. Теперь ничего не видно. Может, их давно сожгли.

Толстый сидит на куртке Рыжей и смотрит в огонь. Тихо гудит, вздрагивая от треска занимающихся веток, и хватается за щеки. Такой забавный дамский жест то ли ужаса, то ли восторга. Рыжая шепчет ему что-то, чего я не могу слышать. Я подхожу и сажусь рядом с ними. Она продолжает говорить, не обращая на меня внимания:

– Надо было суметь пристроиться где-нибудь на задах, так чтобы не прогнали, и смотреть. Тут главное было смотреть, не слушая. Потому что они пели и играли на гитарах, пекли картошку и все такое, но это только отвлекало, вся эта романтичная чушь, когда куча народу хочет доказать самим себе, что классно проводит время. А я просто ужасно любила смотреть на огонь. Один раз кто-то выхватил из костра ветку и написал ее тлеющим концом что-то на стене. Меня

это просто ослепило. Слово, которое осыпалось огнем. Горящие буквы... Божьи письма. На следующий день от них остались только черные буквы обыкновенного ругательства и полоса сажи, но все равно это было чудом, и я это видела...

Она бросает в огонь развесистый сегмент засохшего куста. В воздух взлетают искры, блестками отразившись в вытаращенных глазках Толстого.

– И еще я приходила сюда реветь, – заканчивает Рыжая. – Раз в неделю, как по расписанию.

– Я тоже, – признаюсь я. – Пока не узнал, что каждый второй в Доме ходит сюда за этим же самым.

Она улыбается. Улыбка меняет ее, делая другим человеком. Непривычным сейчас, но таким, с которым ты вроде бы знаком очень и очень давно.

– Ага, – говорит она. – Вечно наткнешься то на одного, то на другого, закроешь глаза и делаешь вид, что этого не было. Самое, черт его дери, уединенное место в Доме!

– В Доме нет уединенных мест.

– Тогда уж точно не было.

Она лезет в рюкзак, достает сверток с бутербродами – «кстати, а у меня тут...» – и замирает, глядя на Толстого. Он подполз ближе к огню, таращится на него, в неуклюжей лапте зажата щепка. Приноравливается бросить ее в огонь – трудное дело, требующее всех его сил и внимания. Мы смотрим, как он, не переставая покачиваться, вытягивает одновременно руку и губы и осторожно кидает щепку. И тут же

испуганно отшатывается, словно от крохотной щепочки костер может вспыхнуть до небес. Ничего не вспыхивает.

Толстый косится на меня, потом на Рыжую и опять заводит свою монотонную гуделку, выражая радость и удовлетворение происходящим.

Ветер дует в мою сторону. Зажмурившись, перекатываюсь ближе к Толстому. Сажусь на край куртки, обнимаю граблей его покатые плечи, и мы вместе следим за тем, как костер затухает. Рыжая пристраивается с другого бока Толстого.

– Не дам я ему бутерброд, – говорит она, и я соглашаюсь, что, конечно, не стоит давать Толстому никаких бутербродов. Для него сейчас существует только костер. Все, что мы дадим ему, полетит туда, ведь никакой ужин не заменит счастья покормить другого, особенно если этот кто-то – огонь, могущественное божество, чьей истинной силы Толстый не знает, но догадывается о ней.

Чтобы он не расстраивался оттого, что костер гаснет, Рыжая говорит про угли. Что они тоже красивые – «как маленькие красные звезды», говорит она, и Толстый кивает, подтверждая сходство.

– Я разожгу для тебя такой же костер завтра, – обещает Рыжая.

– Зачем тебе это? – спрашиваю я. – Он ведь может привыкнуть.

Рыжая молчит. «Пусть привыкает, – слышно в ее молчании. – Я буду носить его сюда каждый вечер. И жечь для него

костры. Пусть скармливает им щепочки и поет. Нельзя только думать о том, что будет дальше. Когда я не смогу приносить его сюда, потому что не будет никакого сюда. Меньше всего стоит думать об этом».

– Не слишком ли многих ты приручила, Рыжик? – спрашиваю я.

В вопросе только нежность, я понимаю ее слишком хорошо. Я понимаю, каково это – не приручать, если ты любишь, когда любят тебя, если обретаешь младших братьев, за которых ты в ответе до конца своих дней, если превращаешься в чайку, пишешь незрячему любовные письма на стенах, письма, которые он никогда не прочтет. Если, несмотря на твою уверенность в собственном уродстве, кто-то умудряется влюбиться в тебя... если подбираешь бездомных собак и кошек и выпавших из гнезд птенцов, если разжигаешь костры для тех, кто вовсе об этом не просил...

Она смотрит на меня и тут же отводит взгляд. Потому что и я – один из тех, кто давно приручен. Счастье, что не беспомощный, не безнадежно влюбленный, не нуждающийся в присмотре, отчасти передоверенный Русалке, может, даже сумевший чуть-чуть Рыжую перерасти, но все равно один из них, нас – тех, кто навеки под ее ободранным чаячьим крылом.

Она тянется ко мне, и мы обнимаемся, соприкоснувшись лбами над макушкой Толстого. Совсем недолго, она почти сразу отодвигается.

– Ты сердишься из-за Лорда, – говорит она. – Но я не виновата...

– Я не сержусь.

– А Курильщик...

– А это вообще ерунда.

Я смеюсь.

Ей все равно, сколько человек слышат их ссоры с Лордом, ей все равно, с кем Слепой, если он не с ней, ей без разницы, голая она или одетая, девушка она или парень, это стайный зверь, таких выращивает Дом, и Курильщик отчасти прав – Рыжая монстр, как многие из нас, лучшие из нас. Будь я проклят, если попрекну ее этим.

Она кивает и встает. Уже почти стемнело, угольки еле тлеют, Толстому, наверное, холодно. Он возится в своих подштанниках-ползунках, вопросительно хрюкая.

– Идем, – говорю я. – Уже совсем уходим.

Рыжая сажает его мне на плечи. Привязывать не обязательно, он привык разъезжать верхом и держится крепко.

Она подбирает куртку и рюкзак и затапывает последние тлеющие угольки.

Толстый многозначительно кашляет.

– Да, – говорит Рыжая. – Я помню, что обещала тебе насчет завтра. А это место должно пока отдохнуть. Остынуть.

Мы идем в сумерках, ориентируясь по светлой полоске асфальта среди скрытой зарослями свалки. В карманах шорт Рыжей побрякивают ключи и монетки. Теперь, когда костер

погас, видно, что еще не стемнело.

Толстый возит ладонями у меня по лицу, что-то бормочет и неуверенно запекает. Наверное, песню о сегодняшнем вечере. В отличие от песен Табаки по таким же поводам эту никто никогда не поймет.

В субботнем медосмотре участвуют все, поэтому очередь в Паучий кабинет растягивается до Могильной площадки, съезжая на лестницу, и проводим мы в ней столько времени, что Логи успевают натаскать с первого одеял и кипятильников, разбить на площадке лагерь и пару раз заварить чай, прежде чем ее хвост втягивается в Могильный коридор.

Здесь скучнее. Нельзя шуметь, курить и включать кипятильники. Многие задремывают. Птицы режутся в покер, Слон выгуливает на сером линолеуме игрушки, Лорд и Рыжая ссорятся, потом мирятся, Шакал раскладывает под Могильными шкафами кусочки булок – для Могильных домашних.

– Странно, что с такими повадками здешние боятся выпуска, – говорит Курильщик. И, поймав мой взгляд, добавляет:

– Вам ведь так немного надо, где бы вы ни очутились. Провокационное заявление, но никто с ним не спорит. Мы удручающе милы с Курильщиком. С самого утра. Очередь понемногу укорачивается. Белые пластиковые стулья, на которые принципиально никто не садится, отме-

чают вежи нашего пути. Когда до двери кабинета остается всего один стул, выясняется, что Курильщика оставляют в Могильнике.

Никаких объяснений, как это принято у Пауков. Просто посылают за его вещами, и остается недоумевать, что же такое с ним стряслось со времени прошлого осмотра, чего никто не заметил. Будь на месте Курильщика кто другой, мы оставили бы в Могильнике десант до выяснения всех обстоятельств, но Курильщика в любом случае должны были забрать родители, так что мы ни на чем не настаиваем и возвращаемся в спальню.

За обедом возникает дурацкий спор. О возможностях колясников. Табаки считает их безграничными и пытается нас уверить, что ноги, в сущности, лишняя часть тела. Якобы в них нуждаются только футболисты и манекенщицы, а всем остальным они требуются только в силу привычки. И когда человечество наконец соберется усовершенствовать себя путем полной моторизации конечностей, эта старая привычка отомрет сама собой.

Я и Горбач вяло защищаем ноги. Мы их любим, они нам нравятся, мы не хотим их моторизировать. Лэри бубнит что-то про зелен виноград.

Оскорбленный Табаки предлагает всем присутствующим ходячим посоревноваться с ним в скорости, быстроте разворота и силе наезда.

Лорд говорит, что после такого соревнования мы окажем-

ся в Клетке. Те из нас, разумеется, кто не окажется в Могильнике.

– И ты, Брут? – шепчет Табаки потрясенно.

После обеда начинается то, что Шакал называет Великим Исходом. Ничего великого в нем нет. Просто увозят нескольких прошедших тестирование, в основном Фазанов, но в Доме умеют обставить любое событие так, что от него веет грандиозностью.

Первый этаж огораживают в районе приемной. В роли шлагбаума выступает Р Первый. Логи немедленно сбиваются у ограждения и всеми силами пытаются прорваться на ту сторону. Черный Ральф держит оборону. Остальные воспитатели доставляют сюда своих подопечных и их багаж.

Общее восхищение вызывает тощая девчушка по кличке Стёкла, чье имущество занимает три огромных чемодана, две сумки и пакет. Шакал заявляет что нашел, наконец, истинно родственную душу в этих стенах, но, увы, слишком поздно, и сердце его теперь разбито.

После доставки неподъемного багажа Стёкла начинает пищать, что забыла упаковать свою любимую жакетку, и за жакеткой отправляют трех воспитательниц, у каждой из которых на лице написано, до какой степени ей хочется прибить Стёкла. Жакетку не находят. Стёкла кричит, что никуда не едет. Логи аплодируют ей. Наконец Акула лично улоакивает в приемную «милую деточку», и больше ничего интересного не происходит, не считая рыданий Фазаненка Хлюпа

и прощальной речи Пса Лавра, в которой он обзывает всех нас говнюками.

Никого из родителей увозимых увидеть не удастся, что, в общем-то, понятно: увидь мы их, они в свою очередь увидели бы нас, а Акула достаточно хорошо соображает, чтобы этого не допустить.

Наконец прошедшие тестирование упакованы и отправлены вон из Дома, заграждения сняты, Рептилии разбрелись пить валерьянку, а мы возвращаемся в спальню.

– Хорошо все же, что мы вот так по-дурацки не проводили Курильщика, – высказывается Горбач.

– Думаешь, он тоже обозвал бы нас говнюками? – спрашивает Шакал.

– Не исключено, – говорит Горбач.

Сфинкс

*В роднике твоих глаз
и виселища, и висельник, и веревка.*

Пауль Целан. Хвала твоим далям

Я поднимаюсь на чердак единственным доступным мне способом. С изнанки пожарной лестницы, спиной упираясь в стену. Чем выше поднимаюсь, тем менее приятным делается этот способ передвижения. Теоретически в нем не было ничего сложного. На практике оказалось, что я многого не учел. Например, вбитые в стену гвозди. Первый втыкается мне в спину на пятиметровой высоте, со вторым мы встречаемся сразу после первого, так что уже к середине пути я истекаю кровью, как святой Себастьян, и перестаю заботиться о скорости, более важным кажется избежать свидания с еще одним гвоздем.

Лорд – с ним мы поспорили, кто влезет на чердак быстрее – примерно в это же время тихо исчезает, не попрощавшись. Табаки – арбитр, чьи бодрые выкрики досаждают мне немногим меньше гвоздей, остается на посту.

- Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче!
- Спасибо! – я перекидываю ногу на следующую пере-

кладину и проталкиваю себя вверх по стене, обдирая еще немного кожи с лопаток. – Твои советы всегда исполнены мудрости. А куда подевался Лорд?

Гляжу вниз, на недоуменно озирающегося Шакала, и становится смешно. Последнее, что стоит делать человеку в моем положении, – это хихикать, поэтому я стискиваю зубы, отвожу взгляд и, наверное, в сотый раз пересчитываю оставшиеся до верха перекладины.

– Действительно. Где он? – возмущается Шакал. – Неужели нервы сдали? Какое-то хилое пошло поколение, прости господи, совершенно не умеют держать себя в руках!

Осталось семь перекладин. Здесь стык стен двух коридоров Дома. Когда-то этот угол был наружным, потом его застеклили, и теперь это просто кубическая ниша, где размещаются пожарная лестница и аварийный выход. Стена, о которую я опираюсь, нежно-голубая, стена напротив – кирпичная, а та, что выходит на двор – стеклянная, но сквозь нее ничего не разглядишь, стекло слишком грязное, так что на виды окрестностей я при восхождении не отвлекаюсь.

На четвертой сверху перекладине начинает сводить икры. Я скольжу вверх, как можно выше, стараясь выпрямиться вдоль лестницы, так что едва касаюсь предыдущей перекладины носками кед, и на следующую не ставлю подошву, а подцепляю ее снизу подъемом и швыряю себя вперед, впечатавшись в лестницу – прием, который не согласился бы повторить и под дулом пистолета. Теперь я ни на что не опира-

юсь, стою, как стоял бы на лестнице человек с руками, и стараюсь поверить, что они у меня и в самом деле есть. Дальше просто. Надо выпрямиться и сделать шаг вверх, представляя, что внизу, в полуметре, расстелен мягкий матрасик, на который будет приятно упасть. Я представляю его, делаю шаг и оказываюсь на чердаке. Вернее, там оказывается моя голова. Главное – не забыть про матрасик. Я не забываю. Еще шаг – и я на чердаке по поясицу, последний – и я там целиком.

Выползаю из люка, растягиваюсь на дощатом полу, но не успеваю поздравить себя с благополучным прибытием – ногу скручивает судорога, и я начинаю с шипением кататься по полу, рискуя выпасть в тот самый люк, через который только что влез. Не могу ни размять свою конечность, ни растереть, есть только одно доступное мне средство – укусить себя за икру, и я уже собираюсь прибегнуть к нему, когда обнаруживаю, что нас на чердаке двое.

В углу, под скошенным потолком на расстеленном пледе сидит похожая на привидение девчонка в длинном красном платье. Платье огненно-красное, девчонка зеленоволосая. Я узнаю ее по этим волосам, но не сразу вспоминаю кличку, а вспомнив, все равно не уверен, что не ошибся, пока она не кривит брезгливо тонкогубый рот, и тогда я говорю ей:

– Здравствуй, Химера! – скрученный, как змей Уробос – пусть кто-нибудь попробует цапнуть себя за икру, сохраняя при этом достоинство. Большим идиотом я, должно быть, еще никогда не выглядел, но нелепостью моей позы невоз-

можно объяснить злобу, с какой глядит на меня Химера. Она смотрит так, будто я – самое омерзительное, что ей вообще когда-либо в своей жизни доводилось видеть. Под Химерьим взглядом притихает даже судорога. Кое-как выпрямившись, делаю еще одну попытку наладить контакт.

– Не ожидал здесь кого-то встретить.

– Я тоже, – говорит она, – не ожидала, что кто-то притащится сюда пережидать приступ эпилепсии.

Каждым словом можно отравиться, столько в них яду.

– Не знал, что мы давние враги, – только и говорю я и, чтобы хоть как-то от нее отгородиться, подхожу к краю люка, посмотреть, как обстоят дела внизу. Почему-то не очень удивляюсь, обнаружив там Лорда, уверенными рывками втаскивающего себя вверх по пожарной лестнице. Лорд – человек упрямый и не настолько нервный, каким иногда хочет казаться.

Табаки, задрав голову, катается перед лестницей взад и вперед. По голубой стене тянется кровавый след моего восхождения. При виде него я чувствую, как спина начинает гореть и чесаться, и одновременно возникает настоящее желание отойти от края люка. К людям, которые смотрят на тебя определенным образом, лучше не поворачиваться спиной, стоя в опасных местах. Я становлюсь к Химере вполоборота, догадавшись по ее ухмылке, что маневр не остался незамеченным.

– Эгей! – вопит Табаки. – Вот он ты! А я уж думал, ты

лежишь там в обмороке! Куда ты пропал?

Я машу ему граблей.

Цветастая рубаха Лорда придает ему сверху сходство с бабочкой. С упрямой и целеустремленной бабочкой. Которой нехорошие люди оборвали крылышки. Он благополучно миновал зону где у меня возникла первая заминка из-за встречи с гвоздем, и продвигается дальше, но, несмотря на то, что делает он это с завидной легкостью, мне вдруг становится не по себе. Я отхожу от края люка, словно без моего участия то, что он вытворяет, будет не так опасно.

– Что ты затеял? – спрашивает Химера. – Что тебе здесь нужно?

– А тебе?

Она молчит.

Скуластая, узкоглазая, с выкрашенными в изумрудный цвет волосами, до ужаса похожая на куклу. На шее у нее гипсовый ворот, глаза подведены зеленым до самых висков, губы такие же ярко-красные, как платье, а пудры на лице столько, что не видно бровей. Я помню, что при ходьбе у нее что-то позвякивает под одеждой, и движется она скованной походкой, придающей ей еще большее сходство с игрушкой.

– Мы поспорили. Кто сюда быстрее влезет.

Застывший взгляд выражает только презрение.

– Ну и кретины.

С этим я согласен. Так оно и есть. Снова подхожу к краю люка, хотя еще минуту назад решил этого не делать.

Лорд ближе, чем я предполагал, но подтягивается медленнее и перед каждой следующей перекладной ненадолго замирает, собираясь с силами. Меня начинает подташнивать. Становлюсь как можно дальше от люка, чтобы больше туда не заглядывать, и начинаю считать в уме. Примерно полдюжины перекладин. Считаю медленно. Химера тем временем мрачно перебирает эпитеты, относящиеся в равной степени ко мне и к Лорду, и никак не может на чем-то остановиться, видно, все они недостаточно полно отражают ее эмоции.

Чуть погодя Лорд втаскивает себя в люк и, загнанно дыша, распластывается у его края. Голос Химеры набирает силу. Не обращая на нее внимания, Лорд, не отдышавшись толком, начинает потрошить свой рюкзак.

– Самовлюбленные идиоты! Инфантильные полудурки! Слабоумные альпинисты...

Лорд выкладывает на пол пузырек с медицинским спиртом, вату, пачку пластырей и фляжку с водой. Теперь понятно, куда он ездил. За средствами для оказания первой помощи. И тащил все потом на себе.

– Пальцем деланные мачо! Жопой думающие снобы! Недоразвитые кобели!

Пока Лорд обрабатывает дырки в моей спине, Химера иссякает, и на чердаке воцаряется благословенная тишина. Золотоголовый недоуменно оглядывается, словно осознает, наконец, что все это время здесь было более шумно.

– Здравствуй, Химера, – говорит он. – С чего это ты вдруг

замолчала?

Химера замирает с приоткрытым ртом. Ненадолго.

– Боже, какое счастье, – шипит она, опомнившись. – Меня соблаговолили заметить! И кто? Сам Лорд – прекраснейший среди самцов Дома!

– Не преувеличивай, сестренка, – просит Лорд, одаряя ее улыбкой. – Это не совсем так. Я, конечно, не урод, но прекраснейший... это как-то уж чересчур. Мне даже неловко такое слышать. Хотя это и недалеко от истины.

Химеру настигает приступ удушья.

Только близко знакомый с Лордом человек способен уловить все нюансы его игры в самовлюбленного красавца и насладиться ею. Спирт жжет адским пламенем, злоба Химеры заполняет все пространство вокруг, просачиваясь через люк даже к далекому Шакалу, а мне смешно, потому что Лорд смертоносен в роли Прекрасного Принца, смертоносен и совершенно невыносим.

Он снисходительно осматривается и роняет:

– Я так понимаю, ты здесь спряталась, чтобы побыть наедине с собой. Знакомое состояние...

– Неужели, – язвит Химера. – Кто бы мог подумать, что тебе оно знакомо. Ну, если ты такой проницательный, давай, вали отсюда. Оставь меня наедине с собой!

– Не могу, – разводит руками Золотоголовый. – Спуск для человека в моем состоянии значительно более труден, чем подъем. Кстати, – поворачивается он ко мне, – я пока-

зал лучшее время, чем ты, спор можно считать решенным в мою пользу. Руки победили ноги, теперь это общепризнанный факт.

Химера смотрит на меня с ужасом.

– Как вы его до сих пор не придушили? – спрашивает она.

Я оглядываю чердак. Серые дощатые стены, покосившиеся шкафы по углам, сломанная мебель – все покрыто толстым слоем пыли. Только плед, на котором сидит Химера, выглядит сравнительно новым. Плед и стоящая на нем кофеварка. Довольно загаженная. Лорд тоже замечает кофеварку.

– Эй, не угостишь нас чашечкой кофе? – спрашивает он.

– Не угощу.

Я подхожу к люку. Далеко внизу Шакал нервно раскатывает взад-вперед. Увидев меня, врывается в стену и едва не переворачивается вместе с Мустангом.

– Приведи кого-нибудь, кто поможет нам слезть! – кричу я ему.

– А кто там у вас? – подозрительно спрашивает Шакал. – С кем вы там разговариваете? Я, между прочим, не глухой. И все слышу. Что происходит, Сфинкс? У вас там с кем-то свидание, да? Между прочим, ты проиграл, если тебя это еще интересует.

– Езжай за подмогой, – говорю я ему и отхожу от люка, чтобы не провоцировать его на новые вопросы. Слышно, как он внизу яростно чертыхается, со злости пихая лестницу колесами.

– Кто у вас там? – спрашивает Химера.

– Малыш Табаки, – величественно сообщает Лорд. – Он засекал время.

– Он, я надеюсь, сюда не полезет?

– Он наверняка не станет этого делать, – Лорд фиксирует в моей грабле фляжку с водой. – Его возможности не так велики, как наши со Сфинксом.

Химера закатывает глаза.

– Не переигрывай, – прошу я Лорда. – С ней что-то не так, не стоит ее еще больше заводить.

– Как скажешь, Сфинкс, – соглашается Лорд. – Просто я не знаю, как говорить с человеком, обзывающим меня последними словами еще до того, как я успел его разглядеть.

Химера смотрит на него, потом на меня. Закусывает губу. Кажется, до нее начинает доходить, что все это время она вела себя не совсем правильно. Пожав плечами – платье держится на них без бретелек, каким-то чудом не сваливаясь, – достает из-за кофеварки мешочек с кофе. Высыпает в кофеварку горстку.

– Будет вам кофе, – говорит она. Изо всех сил стараюсь быть любезной. От этой любезности сводит скулы.

Лорд откашливается и бросает на меня изумленный взгляд. «Что ты ей сделал, признавайся?»

– Ничего. Клянусь, – отвечаю вслух.

Химера встает, ковыляет к нагромождению мебели в углу и включает стоящий там телевизор. Возле телевизора – ряд

пустых пластиковых бутылок. Она пинает их, и они рассыпаются.

– Воды мало, – говорит Химера. – Может не хватить.

В ярком платье на фоне чердачной пыли она выглядит совсем неуместно. При ходьбе из-под подола выглядывают грубые ботинки, как у не до конца преобразившейся Золушки.

Я сажусь рядом с расстеленным пледом, но не на него, Лорд подползает ближе. Втроем мы молча смотрим на экран. Бородач в оранжевом спасательном жилете рассказывает о чем-то, стоя на надувном плоту. О чем он рассказывает, нам не слышно.

– Звук не удалось отладить, – говорит Химера мрачно. – Я подключилась к антенне, но звука нет. Может, из-за этого его и выкинули.

Мы с Лордом переглядываемся.

Кофеварка не так удивительна, многие таскают их по Дому в рюкзаках. Попытка починить старый телевизор – другое дело. Это говорит о том, что Химера провела здесь немало времени.

– Ты с кем-то поссорилась? – осторожно спрашивает Лорд.

– С твоей задницей, – немедленно следует ответ. – Не суй нос не в свои дела, ясно?

– Ясно.

Кофе нам достается по полпорции на двоих. Химера злобно вручает Лорду пластиковый стаканчик с кофе на до-

нышке и говорит, что уступает нам свою долю. Мы делаем по два глотка, после чего стаканчик демонстративно комкается и выбрасывается.

Золотоголовый раздражен, хотя по нему этого не видно. Ложится, облокотившись на рюкзак, и строит предположения.

– Ясно, она здесь не потому, что с кем-то поссорилась, – говорит он задумчиво. – Такая скорее разнесет своим обидчикам черепа, чем станет из-за ссоры отсиживаться на чердаке.

– Не забудь про платье, – напоминаю я. – Может, у нее здесь свидание? Тогда понятно, почему нас так мило встретили.

– Свидание? В этом случае кто-то очень не торопится на него прибыть, – Лорд кивает на бутылки возле телевизора. – Я бы сказал, он запаздывает на пару дней.

Химера сидит, окаменев. Стиснув темные по сравнению с лицом руки на коленях. Нам с Лордом не обязательно переглядываться, чтобы продолжать игру. Мы слишком часто играли в покер в паре.

– Не пойму, как она сюда вошла в этом платье, – продолжает Лорд. – Оно совсем не годится для восхождений.

О не годящихся для восхождений ногах он не упоминает, и это правильно.

– Прошла через крышу, – вступаю я. – Через второй чердак. Туда ведет простая лестница, а ключ можно как-нибудь

раздобыть. Если очень нужно...

– Может, она от чего-то прячется?

– В этом платье?

– Может, у нее не было времени переодеться?

– Хочешь сказать, это ее повседневный наряд?

– Кто-то ей носит еду.

– Это точно.

– Кто-то из девушек в курсе...

– Можно спросить у них.

– Например, у Рыжей...

– Хватит! – визжит Химера, заткнув уши. – Прекратите
сию же минуту!

Мы прекращаем. И молча ждем.

– Вы еще хуже, чем я думала, – говорит она растерянно. –
Вы – полное дерьмо. Неужели нельзя оставить человека в
покое?

В голосе жалобные нотки. Для Химеры это полное поражение, и меня не удивляет, что она вдруг раздражается слезами, но Лорд потрясен, полон раскаяния и готов немедленно сдаться. Я качаю головой, он отворачивается со страдальческим видом.

Химера ничего не замечает. Она утопает в слезах. Зеленая тушь оказалась водостойкой, не течет и даже не размазывается, но на Химеру и без того больно смотреть.

– Что случилось? – спрашиваю я. Так мягко, что сам пугаюсь своего голоса.

Химера вытирает нос.

– Ладно, – говорит она с отвращением. – Я расскажу. Вы ведь не отстанете.

Она отворачивается.

– Окна нашего корпуса выходят на воспитательские, – говорит, не глядя на нас. – И крыша видна тоже. Не так давно один парень хотел с нее спрыгнуть. Даже соскользнул и повис на руках, но не сумел разжать пальцы. Не смог. Я знаю, как это бывает. Я-то знаю. Потом я его видела опять. Там же. Как он стоит и смотрит вниз. Просто смотрит, и все. Я раздобыла ключ, и когда в следующий раз его увидела, тоже влезла сюда. Мы с ним поговорили о всяком, он даже рассказал, почему хотел спрыгнуть...

Я слушаю эту незамысловатую историю как что-то до боли знакомое. Могу поклясться, что впервые, но ощущение узнавания необычно сильное. И я не понимаю, откуда оно взялось.

Химера достает из лежащей на пледе пачки сигарету. Пальцы у нее дрожат. Длинные ногти покрыты зеленым лаком.

– Вот и все, – говорит она. – Мы стали встречаться здесь иногда. Это был наш секрет. Довольно долго. Еще до Закона. А недавно я увидела сон. Нехороший. Притащилась сюда и сижу, как дура. Конечно, это смешно – платье и все такое, стерегу третий день, а его все нет, мало ли что увидишь во сне, но я не могла оставаться на месте, все думала, а вдруг

это вещий сон, именно этот, и я не успею. А теперь можете уржаться вволю...

Из люка выныривает Горбач в рваной лоскутной рубашке и в шахтерской каске с фонариком. Горб, босые ноги и торчащие из-под каски черные кудри придают ему слегка потусторонний вид.

– И ему не забудьте рассказать, – тычет она в Горбача сигаретой. – Пускай посмеется. Размалеванная дура засела на чердаке, это ж сдохнуть можно, до чего забавно.

– Кто он? – спрашиваю я.

– Не твое дело.

– Эй, вы собираетесь спускаться? – спрашивает Горбач. – Табаки сказал, вроде вы хотели...

Я смотрю в глаза, обведенные зеленой тушью, и вижу в них радужную воронку коридора, уводящую куда-то... еще не ступив в этот коридор из несказанных слов, которые различаю, как шепот, знаю – он заканчивается дверью. Запертой дверью, за которой прячется некто, хорошо мне знакомый. Кого я узнаю по запаху, даже не открывая двери. Я делаю шаг...

– Не смей влезать в меня! – визжит Химера, и я еле успеваю уклониться от скользящих в сантиметре от моего лица изумрудных ногтей.

– Эй, полегче! – Лорд перехватывает ее руку. – Хватит с нас и одного незрячего.

– А пусть не лезет в меня! – Химера извивается, пытаюсь

вырвать у Лорда руку. – Скажи, чтобы не делал этого! Пусть уберется сейчас же!

– Уходи, Сфинкс! – просит Лорд, борясь с Химерой. – Пока я ее держу! Слышишь?

Я встаю и как лунатик иду к люку, где меня дожидается нелепо одетый Горбач. Дожидается, свесив вниз босые ноги и болтая ими в воздухе.

– Ну что, спускаемся? – спрашивает он, вскакивая. Достает из кармана веревку и пропускает ее сквозь ременные петли у меня на джинсах. – Это на всякий случай. Вдруг не удержу.

Бреду по коридору, тупо уставившись перед собой. Что-то мешает идти. Сообразив, что именно, я останавливаюсь, и тут же в меня врзается запыхавшийся Горбач.

– Эй, Сфинкс, я тебе кричу-кричу, ты что, не слышишь? Так и намерен гулять на поводке? – Он освобождает меня от страховочной веревки, сматывает ее и прячет в карман. – Что случилось?

– Ничего. Задумался.

– Ну ты и задумался! Ладно, я – обратно. Надо спустить Лорда, пока его не сожрали. Кажется, эта Химера немного не в себе. Лучше не оставлять их наедине.

Он исчезает, а я иду дальше, до самой нашей спальни, зайдя в которую, сажусь на пол перед дверью и гляжу, как Толстый странствует под кроватью, гудя и собирая пыль.

Я смотрю на него так долго, что он успевает пересечь

подкроватное пространство, выползти на середину комнаты, опрокинуть стул и попробовать на вкус все, что с него упало.

Потом возвращаются Лорд с Горбачом.

Горбач успевает как раз вовремя, чтобы вытащить из пасти Толстого чей-то носок. Лорд бросает на стол полотенце и сообщает, что в Доме отключили холодную воду.

– Зачем ты это делал? – спрашивает он меня. – Зачем тебе понадобилась ее исповедь?

– Кажется, это и меня касается, – говорю я. – Не пойму пока, каким образом, но это имеет ко мне какое-то отношение. И мне это не нравится.

Лорд пристраивается на краю кровати, стягивая через голову цветастый балахон.

– Плюнь, – предлагает он. – Забудь. Тошнотворная история.

– Он не может, – говорит Горбач. – Не знаю, о чем вы, но Сфинкс не успокоится. По глазам видно.

Нанетта пробует спикировать ему на голову, оскальзывается на каске и, оскорбленная до глубины души, плюхается на пол.

– Как ты это делаешь? – спрашивает Лорд. – Мне казалось, она вот-вот скажет все, что ты хочешь знать.

Я закрываю глаза.

– Это было летом, – говорю я.

Химера об этом не сказала, но я догадался. Почему мне не следует знать, кто это был? Потому что он тоже боится меня?

Я ведь почти поймал его. Теперь я угадаю и не заглядывая в глаза Химере...

– Пойду, поищу Слепого, – встаю.

– погоди. Я с тобой, – Лорд вываливает из ящика шкафа ворох рубашек. – Только переоденусь. Не понимаю, почему для тебя это так важно.

– Я тоже, – говорю, вздрогнув от неприятного озноба.

Через полчаса, с заклеенной пластырем спиной, в гигантской красно-белой футболке Черного с номером на спине, я прочесываю Дом в поисках Слепого. Лорд тоже в футболке Черного, только бело-синей. С номером двадцать два. Встречные изумленно таращатся, подозревая, что мы являемся предвестниками новой моды. Углубленный спортивный стиль. Лорда эти взгляды нервируют, хотя он и в футболке по колено хорош. Она придает ему бродяжий, слегка помоечный вид, который при его внешности потрясает воображение.

Мне приходится ждать и приноравливаться к его шагам, потому что на костылях он передвигается гораздо медленнее, чем в коляске. На повторном пересечении коридора с заглядыванием во все щели Лорд не выдерживает и просит разрешения передохнуть.

– Никуда он не денется, Сфинкс. А у меня подмышки горят. И, черт бы всех побрал, на нас смотрят, как на каких-то обезьян, мне это уже надоело!

– Терпи, – говорю я ему. – Сам за мной увязался, не забывай.

– Потому что ты меня беспокоишь. Твои блуждания, и вся эта история. Я должен быть поблизости. Кстати, почему ты думаешь, что Слепой что-то об этом знает?

– Я так не думаю. Может, знает, а может, нет. Но если кто-то в курсе происходящего, то, скорее всего, он. Кофейник! – внезапно осеняет меня. – Там мы еще не смотрели!

Я устремляюсь к Кофейнику, Лорд, чертыхаясь, тащится следом.

В Кофейнике, как всегда, полутемно и накурено. Лампы на столиках горят, отбрасывая свет зелеными веерами. Окна зашторены, но солнце просачивается сквозь щели, так что создать уютный полумрак не удастся.

Слепой здесь. Восседает на грибовидном сидении в черном сюртуке с погонами, как молодой Дракула, спасающийся от солнечных лучей. Перед ним на стойке три чашки кофе. На соседнем грибе благодушно скалит зубы Стервятник, только вместо кофе у него горшочек с кактусом.

Валюсь на ближайший грибостул, и синяки отзываются на это действие дружным воем в ста разных точках моего организма.

– Боже! – говорит Стервятник, выплывая из курительного транса. – Что с вами, мальчики? Вы выглядите, э-э-э... немножко непривычно...

– Холодную воду отключили, – объясняю я. – Это тряпки

Черного. Слепой, я искал тебя, чтобы спросить кое о чем.

– Я к твоим услугам.

Слепой отрешенно пялится в пространство, сложив руки на стойке, как прилежный ученик в присутствии учителя.

– Кто прошлым летом пытался покончить с собой, бросившись с крыши?

Стервятник, присвистнув, заслоняет ладонью свой кактус, оберегая его от неприятных историй. Лорд, вскарабкавшийся на стойку, чтобы передохнуть от прямохождения, размазывает по ней горстку просыпавшегося сахарного песка. Слепой застыл, как гипсовый барельеф.

– Ну так как?

Я уже знаю, что ответа не будет, но настаиваю, чтобы вытянуть из него хоть что-то.

– Говори, Слепой.

Он наконец оживает и поворачивает ко мне лицо.

– Беру свои слова обратно. Я не к твоим услугам, Сфинкс. Извини.

Коротко и ясно. И так же отвратительно, как страх Химеры, если не хуже.

– Это был не ты.

– Ничем не могу помочь.

Лорд с тревогой следит за нами, сгорбившись и терзая подбородок.

– Я все равно узнаю.

Слепой передергивает плечами:

– Не сомневаюсь. Но не от меня. Уходи, Сфинкс, не трепи мне нервы.

Сползаю с пластмассового гриба.

– Ты достаточно сказал, ничего не сказав.

Слепой утыкается в чашку, давая понять, что разговор окончен. Я выхожу, не дожидаясь Лорда, пересекаю коридор, натываясь на людей и коляски, ощущая себя избитым и оплеванным.

Что за дело Слепому до прошлогоднего неудавшегося самоубийцы, который любит гулять по крышам? Кто бы он ни был, что бы ни гнало его к краю, чем я могу быть опасен ему? В глазах Слепого нет ничего и никогда, и в голосе его ни коридоров, ни закрытых дверей, но даже в глухой стене, которой он отгородился от меня, я читаю ответ на свой вопрос. Ответ, причиняющий боль.

Захожу в спальню. Толстый перестает жевать одеяло и смотрит на меня.

– Продолжай, старик, – говорю я ему. – Может быть, пробуя все подряд, ты в один прекрасный день сделаешь открытие. Изобретешь новый вид пищи. И прославишься в веках.

Толстый не понимает слов, но распознает интонации. Успокоенный моим голосом, он закидывает одеяло глубже в рот. Я опускаюсь перед ним на корточки.

– Ты замечаешь, что мы почти все время разгуливаем по Дому, что в спальне никто не сидит? Замечаешь, что мы стали часто оставлять тебя одного? Жизнь перетекла в кори-

доры, а ты остался здесь, бедняга. Но, может, тебе так лучше? Вся комната в твоём распоряжении. Куча предметов. Видишь ли, в чем дело, там, на крыше, был кто-то из нас. Кто-то, кто может ходить. Не Слепой... не Горбач... не Лэри. Черный? Македонский?

Толстый выплевывает попавшую в рот нитку и морщится.

– Это вполне мог быть Черный. После того, что случилось с Волком, это мог быть даже я сам, но это был кто-то другой. Скажем, Черный. И девочка с зелеными волосами готова выцарапать мне глаза, только бы я не узнал об этом. Забавно, да? Она боялась меня. Лорда ей тоже хотелось прогнать, но его она не боялась. А теперь, скажи мне, Толстый, кто может бояться Сфинкса и почему? Что надо сделать для этого? Очень и очень нехорошее. Это мой последний вопрос. Кажется, я знаю ответ, но, возможно, мне это только кажется. Сижу ли я здесь в засаде, стерегу ли кого-то, кто ответит мне?

Толстый глубоко вздыхает, таращась на меня глазками-пуговками.

– Я боюсь, Толстый, – говорю я ему. – Понимаешь? До смерти. Посмотреть ему в глаза и узнать. Почему он торчал на крыше тогда и почему делает это теперь. В чем его вина и страх.

Толстый явно ждет от меня сказку о синем море и белом песке. Нитки свисают с его оттопыренных губ тут и там, как сомы усы, и он чистит себя, как умеет, не переставая вни-

мательно слушать. Он глядит на меня и на того, кто сидит рядом со мной, так же как я, на корточках. Нас трое, сидящих в кругу над изжеванным одеялом, и этот третий тоже внимательно слушает, потому что на самом деле мои слова предназначены ему, и слова, и вопросы – он это знает.

– Что ты сделал, Македонский? – спрашиваю я.

– Кажется, я убил его, – отвечает тихий, почти безразличный голос.

– Почему?

– Я боялся. Мой страх мог сделать это, помимо моей воли. Ты знаешь, я не хотел бы причинить тебе боль. Он был страшным человеком. Я рад, что сказал тебе, Сфинкс, рад, что ты спросил. Делай теперь со мной, что хочешь. Если согласишься уйти, я уйду.

Толстый разрывает сигаретную пачку и радостно ухает при виде высыпавшихся сигарет. Хватает сразу две, запихивает в рот и тут же с отвращением выплевывает.

Я встаю и выхожу из спальни. Не очень понимая, куда иду и зачем. Знаю только, что мне нужно двигаться. Все равно, в каком направлении.

– Эй, да ты, никак, в моей одежде, Сфинкс?

Встречная фигура, которую надо обойти. Черный, с огромным динамиком в объятиях.

– Да. Это твоя одежда. У нас с Лордом сегодня был день воспоминаний...

Делаю шаг в сторону, но он опять заступает мне дорогу.

– Что случилось, Сфинкс? На тебе лица нет.

Стою, ожидая, когда ему надоест торчать передо мной. Гляжу на его подбородок, уткнувшийся в динамик. Потом динамик исчезает, поставленный на пол, и подбородок исчезает вместе с ним. Черный стоит, согнувшись, как будто повредил себе позвоночник.

– Так, – говорит он. – Страшновато смотреть на тебя, но я, так и быть, переживу. Могу я чем-то помочь?

– Можешь. Запихни меня в какую-нибудь щель и зацементируй ее.

– Понял, – Черный выпрямляется. – Пошли. Я тебе это организую. И щель, и цемент, и надгробную надпись. Только потерпи до первого.

Динамик он оставляет посреди коридора, как памятный обелиск в честь нашей встречи. Я послушно иду за ним. Мы выходим на лестницу. Спускаемся и опять идем. В актовом зале, как всегда, кто-то вдохновенно терзает рояль, и волны этого вдохновения захлестывают весь первый этаж. Черный заводит меня в полупустую комнату. Это склад, где громоздятся картонные коробки. Одна приоткрыта, и в щель выглядывает запечатанный в пенопласт унитаз. Мы в комнате унитазов.

Черный копается за одной из коробок, бормоча что-то невразумительное. Выуживает оттуда бутылку, потом еще одну.

– По-моему, – говорит он, – тебе нужно выпить. Удержишь сам? Бокалы у меня здесь не предусмотрены.

– Попытаюсь, – говорю я. – А что внутри?

– Спирт, разведенный яблочным соком.

Я смеюсь. Черный опрокидывает на бок пустую коробку и расставляет на ней бутылки.

– Познакомишься с Песьими пристрастиями. Это их любимый напиток. Когда привыкнешь, очень даже ничего. Все зависит от того, в каких пропорциях развести.

– Да мне плевать, – говорю я. – Будь там хоть чистый спирт.

– Я вижу, что тебе плевать, – Черный садится на пол и отвинчивает крышку одной из бутылок.

– Что все-таки случилось? Может, расскажешь?

Качаю головой.

Он передает мне бутылку.

– Как хочешь. Я не настаиваю, сам понимаешь.

Собачина смесь не похожа ни на один из известных мне напитков. Гадость жуткая, хотя после третьего или четвертого глотка это уже не так заметно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.